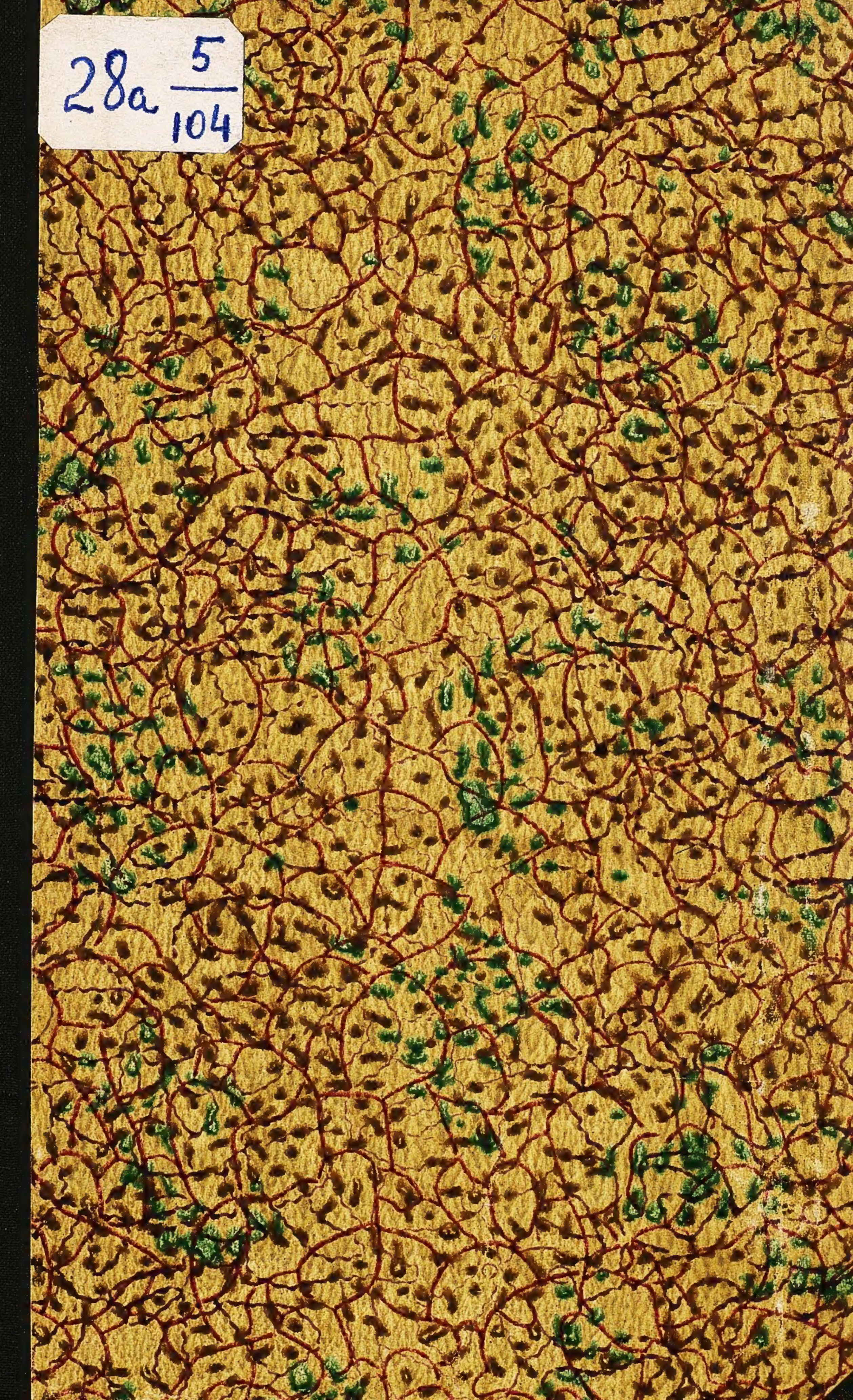

28a 5/104



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



А. Богданов.

Элементы пролетарской культуры
в развитии рабочего класса.

Лекции, прочитанные в Московском Пролеткульте весною 1919 г.

Государственное Издательство.
МОСКВА—1920 г.

Всеросс. Совет
ПРОЛЕТКУЛЬТА.

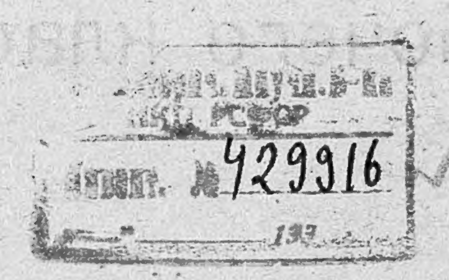
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

А. Богданов.

Элементы пролетарской культуры в развитии рабочего класса.

Лекции, прочитанные в Московском Пролеткульте весною 1919 года.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.
Москва.—1920 г.



10-ая Государственная Типография

I. Прообразы новейшего пролетариата.

Выражение „пролетарская культура" обозначает именно ту культуру, которую вырабатывает новейший пролетариат— индустриальный. Индустриальный пролетариат — порождение капитализма, но и при других, прежних общественных организациях пролетариат существовал. Он был иной в иных условиях; но нам полезно видеть его судьбу, его культурное творчество, полезно для того, чтобы глубже понять судьбу культурного творчества новейшего пролетариата.

Пролетарий--это человек, лишенный всякой собственности. Он противоположен собственнику. Пролетариат существовал в древнем мире—античном, греко-римском мире. Слово „пролетарий" там и возникло, но применялось оно к пролетариату паразитическому. Разорившиеся крестьяне ремесленники, иногда и рабовладельцы, не превращались в трудовой пролетариат, а поступали на содержание государства, или жили частной благотворительностью. Это, следовательно, был пролетариат не трудовой, „люмпен-пролетариат" или „босяцкий", как его теперь называют,—паразитический, но граждански-свободный; в последнем он сходен с новейшими пролетариями: они тоже не только не собственники, но и свободные. В античном мире был и пролетариат трудовой, только он иначе назывался—это были рабы. Они, конечно, были лишены всякой собственности,—даже и собой не располагали, своей рабочей силой, т.-е. своим телом. Но кроме этого они были несвободные люди, что их и отличает от новейшего пролетариата.

Принято не считать рабов пролетариями, потому что в Риме пролетариями назывались только люди лично свободные. Но в вопросе о классах, об их культурном творчестве

основой должна быть чисто экономическая характеристика, а свобода, как гражданская, политическая форма, здесь решающего значения не имеет. Мы скажем: раб не свободен, но и пролетарий новейшего времени свободен только формально, а не по существу. Нам надо прежде всего установить экономический тип, и мы должны сказать, что рабы— это именно тот самый класс, который соответствует пролетариату. Раб был не свободен и формально, современный пролетарий не свободен материально. Современный пролетариат принужден буржуазному обществу отдавать свою работу. Он принужден, значит, он не свободен. Пролетариат—класс противоположный собственникам; это определение гораздо точнее; и рабы, конечно, не были собственниками.

Итак, если мы сопоставим пролетариат античного мира с новейшим, получится вот что. Новейший—это трудовые пролетарии, лично свободные; античный пролетариат трудовой—рабы, несвободные, а свободный пролетариат—нетрудовой: два полюса; такова была там картина. Все же, при очень большом различии этих двух частей пролетариата, мы имеем все основания их связывать, потому что как раз в культурном творчестве они создали нечто сообща, вместе; но и различие их надо иметь в виду: оно тоже отразилось в их культурном творчестве. Это, как видим, было прежде всего различие политического положения. Каждый класс отстаивает свои экономические интересы политической борьбой; но там было не так. Трудовые пролетарии, рабы, были поневоле вне политики, потому что им никто не позволял политикой заниматься; это была вынужденная аполитичность. А паразитический пролетариат был политическою силою, но наемною политическою силою. Они как экономически были паразитами, так и в политике продавали свои голоса, и также были паразитами. Они, за подачки помогали разным императорам всходить на троны, помогали их низвержению, и т. д., словом, торговали своей численностью, своим политическим влиянием. Что касается рабов, то как будто есть указание на то, что и они политикой начинали заниматься — это восстания рабов: спартаковское восстание 70-ти тыс. рабов гладиаторов; восстание сицилийских земледельческих рабов, которые работали при ужасных условиях на плантациях крупных землевладельцев,—

они работали там большей частью скованными попарно. Но это не были политические движения, это были просто взрывы ненависти и отчаяния измученных людей. Еще в спартаковском восстании, пожалуй, были элементы политики, потому что гладиаторы еще до известной степени помнили себя свободными людьми: это большей частью были пленники; и у них, значит, могло быть сознательное стремление возвратиться к свободному состоянию. Но о сицилийских рабах и этого сказать нельзя: тут был именно только стихийный взрыв, который не имел последствий, и никакого политического творчества не представлял.

Итак: в политическом смысле, творчества ни тот, ни другой пролетариат не проявил. Восстания рабов не создали ничего политически, и были просто стихийными порывами угнетенных; а политическая деятельность так называемых пролетариев, т. е. пролетариев-паразитов, творчества не представляла, потому что это был класс продажный. Но в области культуры они творчество проявили и, надо признать, огромное,—как это ни странно с первого взгляда. В эпоху падения античного мира, когда разрушался рабовладельческий строй, именно тогда они себя проявили, тут они создали некоторую идейную систему и некоторую культурную организацию.

Но теперь рассмотрим, что это могло быть за творчество, какое оно должно было быть по социальному положению этих классов. Вы знаете, что культурное творчество зависит от объективного положения класса, от его основных жизненных условий. Каковы же были эти условия, и каково их культурное влияние?

Культура античного мира, как известно, в основе была авторитарная, основанная на „авторитете“, на власти-подчинении [1]). Могли ли рабы и паразитический пролетариат

[1]) Авторитарное сотрудничество—это разделение труда между организатором или руководителем и исполнителями или подчиненными. Авторитарное мышление—это представление по такому образцу отношений жизни человеческой, жизни в природе, и вообще мирового процесса; например, понятия о „душе“ и „теле“, как властном распорядителе и пассивном исполнителе, о „богах“, как организаторах мира, о знании, как откровении этих организаторов, о нравственности, как их велении, о смирении, покорности, верности властям, как высших добродетелях, и

отрешиться от этого строя жизни, а следовательно, и такого же строя мысли? О рабах и говорить нечего: условия, в которых они жили, были наиболее авторитарные, какие возможны — самая крайняя степень подчинения. Значит, мышление рабов не могло быть иным, как авторитарным,— и таков необходимо был дух культурного их строительства. А тогдашний люмпен-пролетариат? Ведь он как будто бы жил свободным, не подчиненным, и сам, в свою очередь ни над кем не властвовал? Но надо принять во внимание, что разорившиеся землевладельцы-крестьяне и разорившиеся ремесленники, из которых рекрутировался пролетариат, раньше в своем хозяйстве были властителями,—а в те времена строй семьи и строй хозяйства были строго авторитарными (как оно и сейчас в мелко-буржуазной семье). У них были авторитарные навыки с того времени, как у них было свое хозяйство. Кроме того, производительной работой они не занимались, а политикой занимались,—но политика, которую они вели в конце древнего мира, была политикой императоров, империи, гигантской авторитарной организации, в которой и за счет которой они жили. Значит, мог ли паразитический пролетариат отрешиться, или стать выше авторитарных элементов культуры, когда у него и в прошлом и в настоящем были такие условия? Очевидно, тоже нет. Следовательно, вообще, то, что создали вместе трудовой и нетрудовой пролетариат античного мира, должно быть авторитарной системой.

Другой, более высокий и позже выступающий тип культуры, — это индивидуалистический. Индивидуализм отличается тем, что он ставит в центре личность [2]).

т. п. Все религии—продукт авторитарного мышления. Его более подробные характеристики—см. „Новый мир“, „Наука об общественном сознании“, „Из психологии общества“ (ст. „Авторитарное мышление“); вместе с экономическим анализом его основ—см. I т. „Политической экономии“ А. Богданова и И. Степанова, глава об авторитарных системах.

[1]) Индивидуализм—такой способ мышления, который противополагает личность другим людям и всему миру, видит в ней самостоятельного, творческого деятеля практики и субъекта всякого познания, ставит идеалом ее свободное развитие. Индивидуализм возникает на основе товарноменового разделения труда, при котором во главе каждого хозяйства стоит частный собственник, формально независимый в своей производственной деятельности, и вступающий в общение с другими такими же

У рабов мог ли развиться индивидуализм? Они были настолько угнетены, всякие проявления личности у них настолько подавлены, что индивидуализма не могло быть. А у люмпен-пролетариата, у хулиганов, если можно так выразиться, потому что они больше всего подходят к типу босяков, хулиганов и т. п.? У босяцкого пролетариата, паразитического, индивидуализм мог быть. Дело в том, что над ними гнет власти был небольшой. Политически, они продавали голоса и сами имели влияние, а экономически, когда случайно работали, то по чужим приказаниям — но работали мало, а просто жили как паразиты. Их личность не была подавлена, индивидуализм неизбежно был при таких условиях, но как только что указано,—при наличности значительных авторитарных привычек. Индивидуализм был поэтому далеко не столь сильный, не столь определенный, как у каких-нибудь буржуазных классов.

Они были раньше мелкими ремесленниками, мелкими крестьянами. А мелкий ремесленник, мелкий крестьянин, частный собственник—неизбежно индивидуалист; но только в буржуазных условиях, при сильном участии этих элементов в товарном обмене и конкуренции, эта тенденция развивается вполне Итак, ясно выраженный индивидуализм можно было найти тогда только в одной части пролетариата, в паразитической, и все же не как господствующую, а как более подчиненную силу.

Значит, мы видим уже там два элемента; авторитарный элемент должен был быть очень сильным, а индивидуалистический—гораздо слабее.

Затем, пролетариат, это люди, лишенные собственности; а как люди лишенные собственности относятся к собственности, как смотрят на нее, если к тому же нет и надежды получить ее? Они тогда стоят за частную собственность или нет? Нет. Они коммунисты. Пролетарии вообще тяготеют к коммунизму. Значит, мы должны пред-

---

хозяевами-собственниками на рынке; там их производственная связь принимает форму конкуренции, борьбы всех против всех за цены и сбыт, и личность практически противополагается другим личностям, всему обществу, отстаивая против них свои частные интересы.

Экономический и культурный анализ индивидуализма дан в тех же работах, которые указаны предыдущим примечанием.

положить и заранее принять, что та культура, которую создавали сообща рабы и пролетарии, должна была быть коммунистической. Так оно и было. Но какой именно это был коммунизм? Коммунизм может быть двоякий: в распределении труда и в распределении продукта. Коммунизм труда или „коллективизм“ состоит в том, чтобы сообща, коллективно, организовать труд, а в зависимости от этого и остальное, т. е. распределение продукта, его потребление; а второй тип, так называемый „коммунизм потребления“, сводится к тому, чтобы взять то, что на-лицо имеется, и сообща поделить, или же потреблять за общими столами; так или иначе, тут основное и главное заключается в распределении наличных средств потребления. Итак, мог ли коммунизм люмпен-пролетариата и рабов быть коллективизмом труда? Рабы свой труд любили? Нет. Они к нему относились в высшей степени враждебно, потому что это был труд принудительный, каторжный, и то, что теперь называется каторгой, это остатки того рабства. Каторжник, конечно, совершенно чужд мысли об организации труда; следовательно, рабы, которые были пожизненными каторжниками, в своем революционном творчестве не могли быть трудовыми коммунистами, потому что труд им был ненавистен. Значит, у них мог быть только коммунизм потребительный. А у паразитического, нетрудового пролетариата какой мог быть коммунизм? Очевидно, тоже потребительный. Значит, и у рабов, и у люмпен-пролетариата мог быть коммунизм только потребительный, и он был. Таким образом, и их культура была коммунистическою в этом смысле, потребительно-коммунистическою.

Если она не трудовая, то можно ли представить, чтобы ее отношение к жизни было активное, боевое, даже вообще практическое? Нет, когда дело сводится к такому коммунизму, чисто потребительскому, когда один класс ненавидит труд, а другой трудом не занимается, то их культура не может быть активной, проникнутой духом труда и борьбы,— она неизбежно пропитана пассивностью. Идее творчества в ней неоткуда было взяться, реально-боевых настроений она была чужда. А что чуждо им, то проникнуто духом непротивления. Итак, культура эта создала свой социальный идеал коммунизма, и коммунизма потребительного, но раз она

была проникнута пассивностью, непротивлением, то каким путем ее творцы хотели этого идеала достигнуть? Активной борьбою с господствующими классами? Очевидно, нет. Это был, таким образом, идеал с характером мечты: они могли только мечтать, верить, что кто-то осуществит их идеал, он был оторванный от действительности, от живой практики, идеал—мечта.

Что же представляет все это вместе? Что это была за культура, в которой была основная авторитарная идея и вообще масса авторитарных элементов, были также, но в гораздо меньшем количестве, на втором плане, элементы индивидуализма, был потребительно коммунистический идеал, от действительности оторванный, культура, вся проникнутая духом пассивности, непротивления? Это система *христианства.* Если вы внимательно рассмотрите христианство, вы все это в нем найдете. Найдете в христианстве построение мира строго авторитарное: бог сотворил мир, все ему подчиняется; нравственное учение насквозь проникнуто духом подчинения,—рабы да повинуются господам, всякая душа властям предержащим да повинуется. Но есть там и индивидуализм. Какая цель каждому отдельному человеку ставится в христианстве? Личное спасение. Элемент индивидуализма есть, но в подчинении авторитарному. Душу спасти — значит соединиться с богом, быть ему угодным. Цель-то поставлена индивидуалистическая—спасение души,—но в подчинении авторитету: она и достигается только по указанию божию, с помощью божией. Коммунизм также в христианстве был: оно являлось первоначально коммунистической сектой. То, что называется причастием, есть воспоминание об общих трапезах. Организовались эти пролетарии, собирали пожертвования и устраивали общий стол, это и было причастие. Они там ели хлеб и пили вино; и, так как все облекалось в религиозную форму, то говорили: этот хлеб и вино мы потребляем сообща, и это делает нас участниками божества. Потом эта простая мысль у богословов всячески осложнялась, но сущность ее именно такова. Отношение к действительности было пассивное; пассивизм крайний; идеи творчества, борьбы отсутствовали. Дух непротивления—это и есть дух христианства. Идеал-мечта—это царство небесное: идеал, оторванный от действительности.

и подлежавший осуществлению не силою людей, но волею и властию божества.

Таково было христианство. Оно являлось одновременно и культурой и организацией, колоссальной организацией и могучей культурой, завоевавшей мир. Это было великим результатом творчества массового, стихийного, потому что громадный был люмпен-пролетариат в античном мире и громадный класс рабов; а жизнь была так тяжела, что вызывала в массах напряженные искания. Все рушилось, все падало, не видно было выхода. Рождались бесчисленные попытки, одни за другими; и вот они разрешились в великом учении христианства. Христианство развилось в громадную организацию культурную, а вначале главным образом экономическую. Это были именно потребительские коммуны.

Такой взгляд на христианство не всеми разделяется. Например, Каутский полагает, что христианство было именно религией люмпен-пролетариата, и только его. Он упустил из виду, что рабы были тоже пролетариат, даже в большей степени. И вполне возможно доказать участие рабов в творчестве христианской культуры. Прежде всего надо обратить внимание на ее резко-авторитарный, рабски-авторитарный характер, а люмпен-пролетариат все-таки был свободный. Затем, люмпен-пролетариат, ведь, это—босяки; они сами по себе разве склонны к организации? Это наиболее анархичные слои общества. Создать громадную организацию, охватившую весь античный мир, людям, не участвующим в труде и не имеющим дисциплины, продажному политическому скоту, т. е. „скоту для голосования“,—это вещь совершенно невероятная. Несомненно, что в организации христианства принимали громадное участие люди дисциплинированные жизнью, хотя бы насильно дисциплинированные; а таковыми были рабы. Христианская дисциплина — несомненный факт. Христианская сплоченность—несомненный факт. Люмпен-пролетариат сам по себе к этому неспособен. Затем, христианство—секта, проникнутая духом непротивления — не только в смысле пассивности: она идеологически проникнута духом любви; самое непротивление она выводит из любви. Любовь, мягкость, отвращение к насилию. Ну, а вы знаете, люмпен-пролетариат античного мира, и вообще босяки всех времен

к насилию относятся отрицательно? Нет, это им не свойственно. Более того, римский пролетариат требовал хлеба и зрелищ. А зрелища тогда были в первую очередь—гладиаторские игры и публичные казни, убийства, кровь. Так мог ли люмпен-пролетариат создать сам по себе, он один, религию, проникнутую духом любви, духом отвращения к насилию? Конечно, такую религию должны были создать люди пассивные, бесконечно страдающие, для которых насилие было причиной страданий, и удовольствия не могло доставлять. Всем этим большое участие рабов вполне доказывается. Есть и прямые свидетельства современников о том, что христианство было „религией рабов“, что среди них оно особенно распространялось. В общем, эта великая культура, конечно, была созданием пролетариата, но пролетариата не только паразитического, а также и трудового, скрытого под именем рабов [1].

Но почему два разных класса, так сильно, как-будто, расходящиеся, могли создать общую культуру? Это вот почему. Отдельные культуры создают те классы, которые находятся в борьбе. Если между классами борьбы нет, но они соприкасаются, то они могут творить сообща. Только борьба разъединяет культуру. У рабов и люмпен-пролетариата борьбы быть не могло, потому что рабовладельцами тогда были не пролетарии, да рабы никакой борьбы и не вели. Соприкасались же они в жизни значительно, и благодаря пополнению пролетариата из отпущенных рабов, и благодаря случайному, нерегулярному, но все же нередкому применению пролетариев другими классами для трудовых услуг, и благодаря хотя неравному, но вообще униженному положению тех и других. В этих условиях вполне возможно и даже неизбежно было общее культурное творчество.

Итак, рабы и пролетарии совместно создали христианскую культурную организацию. Создавалась она, без сомнения, почти стихийно; рабы внесли в нее очень многое: свою невольную организованность, свою авторитарно-бытовую заби-

---

[1]) В односторонности Каутского сказалась, повидимому, власть слов над сознанием. Коммунистическую секту, конечно, должны были создавать пролетарии; но рабов этим словом не обозначали, следуя древнему словоупотреблению. А между тем производственно рабы ближе к нынешним пролетариям, чем тогдашние «пролетарии».

тость, свой дух непротивления и отвращения к жестокости, к насилию. Но творцами-идеологами должны были явиться в наибольшей степени пролетарии, люди вольные, менее угнетенные, духовно не столь обессиленные жизнью; было не мало идеологов и из других классов, из людей, увлеченных новой культурной силой. Христос, если он существовал, был несомненно пролетарием. В Иудее было тогда вообще много пролетариев благодаря сильному разорению этой провинции. Также и апостолы были люди свободные, но лишенные собственности и коммунисты. Деяния апостолов—это история первых христианских коммун, записанная кем-то позже, и, понятно, заключающая много фантастического.

Ну, а потом что стало с этой христианской культурой? Потом оказалось, что эту культуру использовали в другие эпохи другие общественные классы. Античный мир развалился, разрушился, на его месте возник мир феодальный, с культурой авторитарной. Что же, этот феодальный мир отбросил христианство? Нет, он им воспользовался. Как он им воспользовался? Он его приспособил, взял из него то, что ему подходило. А так как феодальный мир построен авторитарно, то, следовательно, он взял из христианства его авторитарные элементы, особенно дух подчинения он взял для подчиненных классов, дух непротивления, дух смирения. Коммунизм, конечно, был отброшен. Но насколько феодальному миру свойственны некоторые элементы коммунизма — поддержка нищих, голодных и т. д., это в христианстве осталось. Филантропию феодального мира взяла на себя именно христианская церковь. Вообще, поскольку феодальный мир взял эту культуру, он ее для себя специально приспособил: организацию церкви он сделал организацией своих жрецов, а культурные элементы усвоил только те, которые ему достаточно соответствовали, которые могли реально организовать его жизнь. Создалось, очевидно, совершенно другое христианство—новое: феодалы—не пролетариат, крестьяне—не пролетариат, но христианство сделалось их общей объединяющей культурной организацией.

Затем, когда возник буржуазный мир, то работа его мысли вначале тоже взяла христианство за основу; но она

взяла в христианстве другое. Буржуазному миру свойственен индивидуализм, свойственно ставить на центральном месте личность с ее интересами, задачами и стремлениями. Именно такой дух выступает в ересях конца Средних веков и начала Нового времени. Эти ереси—зарождение буржуазной культуры. Они направляли внимание на те элементы христианства, в которых заключался индивидуализм, на те элементы христианства, в которых была тенденция к признанию личности и свободы. Буржуазному миру свобода была нужна, и еретики стояли за свободу личности, в религиозной форме понимаемую, как свободу совести. Те из еретиков, которых особенно преследовали, — а преследование всегда рождает сплоченность,—те особенно выдвигали элементы любви, коммунизма; но в общем еретики,—первые провозвестники буржуазного мира,—из христианства брали всего больше именно индивидуалистические элементы. Затем впоследствии реформация, идеология уже более высокой ступени развития буржуазного мира, это—продолжение ересей. Она определенно взяла в христианстве и подчеркнула все, что касается личности, личного спасения, чтобы личность поставить в центре религиозного мышления. Так как христианское учение уже имело ряд разветвлений, то дело шло о том, как его истолковать. Реформация говорила, что личность сама имеет право его истолковывать и по своему спасаться — свобода совести. Тут еще сильнее была подчеркнута идея свободы в христианстве; крайние же секты, не столько буржуазные, сколько полу-пролетарские, подчеркивали еще больше идею равенства и элементы коммунизма.

Когда стал зарождаться пролетариат настоящий, трудовой, индустриальный, то и он начал во многих местах с того, что использовал элементы христианства. Так, в Англии был христианский социализм, был и в других странах. В Англии христианский социализм был сильно близок к пролетарскому; но он из христианского учения всецело брал идеи свободы, братства и равенства, элементы индивидуализма и особенно коммунизма. Оттуда же брал идеи сенсимонизм, а также и некоторые другие чистые утописты.

Так используется вообще культура прошлого: новый класс приходит, находит ее готовою, и не отбрасывает ее, а берет из нее то, что ему подходит, и этим пользуется. Это для

нас очень важно: так действовать должен и пролетариат по отношению к культурам прошлого.

Другой прообраз новейшего пролетариата—это ремесленные ученики и подмастерья средне-вековых городов. Там, как известно, господствовал ремесленно-цеховой строй. Свободные ремесленники, объединенные в цехи, вели каждый свое хозяйство. Ремесленнику помогали члены его семьи, а кроме того ученики и подмастерья. Ученики, как показывает само название, только готовились, только изучали производство; подмастерья были, собственно, уже работники, умеющие производить, более или менее обученные, но не имеющие самостоятельного предприятия, своей мастерской. Это, следовательно, были не собственники, а, значит, пролетарии; они с новейшим пролетариатом сходны и тем, что были свободными людьми. Однако в класс, подобный пролетариату, они с самого начала не стали складываться, классовой организации долго не создавали. Почему? Пока ремесло процветало, не было почвы для того, чтобы подмастерья стали отдельным классом. Пока ремесло процветало, каждый ученик и каждый подмастерье расчитывал и имел право расчитывать стать в свое время мастером. Ученик получал от хозяина более или менее достаточное содержание, а подмастерье кроме содержания получал еще некоторое количество денег, которые он мог накоплять, чтобы потом устроить свою мастерскую. Значит, по своим целям они были такие же ремесленники, и задача их была в том, чтобы пройти в мастера; это были мастера в будущем. Какой же они могли тогда образовать отдельный класс?

Но процветание ремесла с течением времени кончилось. Пришел торговый капитал, т. е., купец-скупщик и ростовщик; они стали подчинять и разорять ремесленников. Конкуренция мастеров стала быстро усиливаться, их положение делалось все более тяжелым. Тогда, во-первых, мастера стали прижимать учеников и подмастерьев по необходимости, начали ухудшать и сокращать их содержание, уменьшать плату подмастерьям; с другой стороны, они начали ставить всякие препятствия к переходу подмастерьев в мастера, употреблять все усилия, чтобы мастерами становились только их же дети, а подмастерья так навсегда и оставались подмастерьями. И вот,

благодаря такому ухудшенному положению, получилось то, что огромное большинство учеников и подмастерьев потеряли фактическую возможность и даже надежду стать потом мастерами, а в то же время испытывали гнет со стороны мастеров. Тогда подмастерья почувствовали себя отдельным классом, они стали организоваться, они стали вести борьбу, классовую борьбу против мастеров, против хозяев. Образовались союзы подмастерьев. Эти союзы были объединениями и экономическими, и в некотором роде —политическими, так как они отстаивали свою заработную плату и отстаивали свои права.

Союзы подмастерьев росли, они охватывали не только данный город, они развивались в союзы межгородские, и даже более,—отчасти они развивались в союзы международные. Организация в этом смысле достигала размеров интернациональных. Но это объединение было ограниченным в одном отношении. Даже если оно было международным, то оно охватывало только одно ремесло, оно не выходило за пределы отдельного ремесла. Тут сказалась сила специализации. Подмастерья боролись с мастерами только своего цеха, и были связаны с подмастерьями только своего цеха. Значит, их союзы, даже международные, были, так сказать, узко-профессиональными, цеховыми, удерживались тоже в цеховых рамках. Вот это огромное ограничение отличает их от союзов новейшего пролетариата. Эти союзы были по форме религиозными: братства под покровительством какого-нибудь святого. В таких же религиозных формах, надо заметить, складывались и цехи: союзы подмастерий в этом смысле были копией цехов. Что касается способов борьбы, то в этом наблюдается большое сходство с новейшими рабочими союзами: применялись стачки, бойкот, широкая взаимная поддержка.

И вот еще большая разница. Могла ли эта борьба привести к реальной победе подмастерьев? С кем они боролись? С мастерами. А кто в действительности был причиной их угнетенного положения? Нароставший капитализм. Значит, они боролись не с тем, кто их угнетал: но невозможно было иначе. Поэтому дело их было безнадежное. Хотя на первых порах были и некоторые успехи, но это — пока было что взять у мастеров; а потом положение стало ухудшаться и

ухудшаться. Организации стали приходить в упадок, и культурного творчества, сколько-нибудь значительного, проявить не успели.

Таков был другой прообраз промышленного пролетариата, и такова его историческая судьба.

II. Зарождение новейшего пролетариата.

Новейший пролетариат возник в начале так называемого Нового времени, в эпоху крайнего развития крепостного права, склонявшегося уже к упадку, и в эпоху развития торгового капитала. В разных странах Европы это было в разное время, но в общем в века от XV до XVII и XVIII. В странах более отсталых это было позже. И сейчас еще некоторые страны не вполне вышли из средневековья, и сейчас там образуется пролетариат такими способами, какими он в Европе создавался в эти века. Например, так обстоит дело в Китае, в Персии.

Как же образовался этот новый пролетариат? Путем разорения массы мелких собственников-производителей, т. е. крестьян, ремесленников, кустарей, путем утраты ими своего самостоятельного хозяйства. Как это произошло, какие силы это вызвали? Да вот именно эти две силы, которые только что упомянуты—сила крепостного права, и еще больше и значительнее—сила торгового капитала. Крепостное право в своем развитии превращалось в крайний гнет и крайнее разорение. Помещик, приближаясь все более к типу чистого паразита, не заботился, не хотел, пожалуй, не умел даже заботиться о поддержании крестьянского хозяйства, а выжимал из него все, что возможно. Крестьянское хозяйство падало, крестьяне разорялись, а те, которые не успели разориться, часто бежали от своего хозяйства, не вынося чрезмерного гнета. То же самое относится, конечно, к деревенским кустарям. Это те же крестьяне, занимавшиеся, кроме земледелия, ремеслом. Кроме того, в деревню проник торговый капитал, в виде купца ростовщика, большею частью местного же кулака. И этот капитал еще усиливал разорение, прибавляя к гнету помещиков и их эксплоатации свой гнет, свою эксплоатацию. Этим путем из деревни вы-

брасывалась масса элементов из бывших мелких собственников, самостоятельных производителей. Они шли себе искать другого места на свете. В городах же торговый капитал, как мы видели, уже разорял ремесленников; разорившиеся мастера и не находившие благодаря этому места подмастерья и ученики также превращались в пролетариат; словом, весь состав ремесленного производства, под гнетом торгового капитала, мало-по-малу выделял из себя множество пролетариев.

В общем, новый пролетариат получился путем „деклассации". Деклассация заключается в том, что люди теряют свой класс; а так как класс определяется положением в производстве, то, следовательно, люди теряют свое положение в производстве, и через него свое положение в обществе. Итак, пролетариат возникал путем деклассации мелких собственников: они утрачивали свою мелкую собственность, землю, мастерские, они утрачивали свою роль в производстве и превращались в пролетариев. Тогда им оставалось одно: итти куда глаза глядят, и искать нового места на свете; следовательно, это был пролетариат бродячий, „люмпен-пролетариат", как его называют: паразитический пролетариат босяков.

Где же они находили себе места? Где придется. Они поступали прислугой к разным представителям господствующих классов, они нанимались работниками на фермах, там, где уже развивалось новое, капиталистическое земледелие, они нанимались в торговые предприятия, поступали на корабли матросами. Они нанимались также в мануфактуры, нарождавшиеся промышленно-капиталистические предприятия. Иные вербовались в армии, иные просто образовывали особые банды, иногда разбойничьего, иногда полувоенного характера. Русское, например, окраинное казачество было в значительной степени такого происхождения. У них были самые различные способы добывания средств к жизни, и весьма неустойчивые. Прислуга, в общем, находилась на положении домашних рабов; но так как они лично не были связаны, то могли, в случае крайности, уходить. Работники на фермах, в мануфактурных предприятиях, находились, в сущности, на положении прислуги. Тогда еще не различали личного услужения и экономически-производ-

ственной деятельности; то же самое в торговых предприятиях;—вообще, положение рабочих в эту эпоху соответствовало положению прислуги. На кораблях, в армиях, там, конечно, господствовал иной строй, но положение также было неустойчивое: они продавались лишь на известный срок в матросы и в солдаты.

Итак, способы существования были разнообразны и неустойчивы. При этих условиях можно ли ожидать энергичной производительной работы, где бы они ни работали, хотя бы и в промышленных предприятиях того времени—в мануфактурах? Конечно, этого быть не могло. Можно заранее сказать, что производительность труда, и особенно, его напряженность была очень незначительная. Не было и большого уменья в огромном большинстве случаев, той массы уменья, накопленного опыта, которая характеризует развитой рабочий класс; потому что перед этим они были, например, крестьянами, а теперь должны были выполнять совсем другую работу. Не было и способности энергично работать, потому что это были люди измученные жизнью, выбитые из своей колеи. Соответственно этому, у них были и очень низкие потребности. Об этом мы можем судить по нынешним босякам. Как они существуют? какие у них потребности? Только кое-как прокормиться и иметь лохмотья, чтобы одеться. Когда позволяет климат, даже жилища им не требовалось.—Итак, низкая производительность труда, низкая его напряженность и низкий уровень потребностей.

Затем,—рабочее время, обыкновенно, мало продолжительное. Конечно, если пролетарий нанимается в прислуги, он должен, пока состоит прислугой, отдавать очень много своего времени; но тогда положение это бывало, большей частью, неустойчивое. Вообще же всюду, благодаря низким потребностям и такому неопределенному экономическому положению, они избегали продолжительного рабочего дня. И так как низкие потребности позволяли им уходить и жить долгое время почти без заработка в бродячем быту, то в общем им это и удавалось. А если им приходилось подолгу работать, то они вознаграждали себя долгой безработицей, так что общая сумма работы оставалась очень мала. Поработает он несколько времени, 5, допустим, 6 дней, а потом получит заработанное, и некоторое время гуляет. К этому

присоединялась традиция прошлого. В Средние века рабочий день вообще не был продолжителен: например, у подмастерьев он не мог быть продолжительнее, как от восхода и до заката солнца, причем было два праздника в неделю— воскресенье и понедельник. Так что и традиции были связаны с неособенно продолжительным рабочим днем, и удлинить его было трудно: бродячие пролетарии не соглашались на это, предпочитая оставаться без работы.

В общем это можно характеризовать, как крайнее отсутствие внутренней дисциплины труда. Выброшенные из привычного труда, принужденные к постоянно изменяющимся занятиям, более или менее случайного характера, не имея прочного отношения к производству, они, конечно, для труда не были дисциплинированы. А между тем развивался новый строй—капиталистический, росли обширные торговые предприятия, создавались транспортные предприятия—корабли, и проч.; а главное, развивались мануфактуры. Мануфактуры—это фабрики с ручным трудом. Для всего этого нужны были кадры рабочих устойчивые, и дисциплинированные в смысле труда.

Государство было тогда, как и всегда, организацией господствующих классов. Оно всегда удовлетворяет потребности этих классов, в данном случае, собственнических вообще, и в частности капиталистов. Значит, государство должно было,—и оно так и делало,—принимать меры для дисциплинирования бродячих пролетарских масс в целях капиталистической эксплоатации. Но как оно их дисциплинировало? Самыми различными путями. Во-первых, очень суровыми законами о бродяжничестве. В этом отношении характерна Англия, так как Англия передовая страна, которая раньше других развила у себя капитализм; и там эти меры выступают ярче всего. Издавались суровые законы о „бродягах“, причем бродягами назывались вообще безработные. Человек, значит, во что бы то ни стало должен был искать работы, потому что, если он ее не имеет, его наказывали чрезвычайно жестоко. Так, во второй, уже раз, когда он попадался в „бродяжничестве“, его наказывали плетьми, а в третий раз подвергали ссылке, или даже присуждали к смертной казни.

Затем, издавались законы о рабочем дне. Продолжительность рабочего дня устанавливалась государством, но не так, как теперь, в новейшее время, когда устанавливается его наибольшая продолжительность; нет, тогда устанавливалась его наименьшая продолжительность, запрещалось работать меньше известного числа рабочих часов. Но этот закон большей частью обходили; и рабочий день в большинстве случаев все таки не превышал часов 9—10, а иногда был, вероятно, и меньше. Об этом можно судить по такому факту. Еще в 70-х годах 18-го века, один писатель, предлагая меры для дисциплинирования рабочего класса, проектировал построить рабочий дом, „дом ужаса“ для рабочих, где все не находящие работы, ее получали бы, но как принудительную; и там он намечал рабочий день до 11—12 часов; это уже считалось огромным рабочим временем; это был „дом ужаса“, как он выражался. Значит, ясно, что в действительности рабочее время было менее продолжительно. Итак, устанавливался минимальный день, причем наказанию должны были подвергаться и тот предприниматель, который нанимал на более короткое рабочее время, и тот рабочий, который нанимался к нему. Но, как было отмечено, они этот закон по соглашению очень часто обходили.

Точно также устанавливалась максимальная рабочая плата. Судьи могли признавать плату чрезмерной и сокращать ее. Но она-то была и так очень низка, так что тут перед нами только иллюстрация классовой сущности государства.

Надо сказать, что, несмотря на все эти меры, „бродяжество“ было значительное; да иначе и быть не могло. Пролетариат был так многочислен, что не малая и временами даже бо́льшая часть не находила себе места в производстве. Итак, это был, в значительной части, люмпен-пролетариат, в роде римского, с паразитической окраской. Во всякий данный момент, часть его имела неустойчивый заработок, но другая, и постоянно очень большая часть была безработна. Как было указано, в Римской империи государство принуждено было брать на себя заботу о поддержании жизни этого пролетариата, потому что иначе он превращался в опасную для государства силу. Там государство его и нанимало политически, или разные партии пользовались его продажными услугами. В Англии этого не было, потому

что здесь пролетариат в такую силу не успел сложиться; но государство все-таки, в интересах порядка и в интересах будущего производства, взяло на себя отчасти поддержку его существования. Для этого в Англии были установлены так называемые законы о бедных, специальный налог на имущие классы для поддержания неспособных к труду и безработных. Меры, следовательно, принимались двусторонние, частью дисциплинирующие, частью направленные на поддержание жизни пролетариата.

Таков был этот бродячий пролетариат. Как видим, колыбель новейшего пролетариата не отличается красотою и изяществом. Путем деклассации он возник, путем падения в люмпен-пролетариат, в босячество он прошел первые шаги своей истории, и затем из этой глубины падения ему надо было подниматься. А это было действительно глубокое, в культурном смысле, падение.

Культурное состояние первичного пролетариата.

Каково, именно, было тогда его культурное состояние? Что он принес с собою из своего прошлого? Это был деклассированный слой общества, элементы, раньше принадлежавшие к классу мелких собственников-производителей. Таково было их прошлое, из него они принесли некоторые культурные остатки. Что же именно? Мелкий собственник был всегда, конечно, индивидуалистом, у него была частная собственность, индивидуальное хозяйство. Следовательно, первый, основной, культурный остаток был —индивидуализм. При этом в своем хозяйстве мелкий собственник являлся хозяином-руководителем, властителем. Значит, к индивидуализму присоединялись некоторые элементы авторитарности, духа властности, но в пределах частного маленького хозяйства. Итак, в общем, индивидуализм, ставящий в центре всего „я“ с его личными интересами, личными стремлениями, плюс авторитарные наклонности по отношению к тем, кто попадает в сферу силы и влияния данного лица.

Далее, какой имелся жизненный опыт? Опыт узкий, в особенности если дело идет о бывшем крестьянине, из прикрепленных к земле. У него весь кругозор ограничивался его общи-

ной, районом сельской колокольни, как выражаются. Да и ремесленник, выброшенный из своей социальной позиции раньше ведь тоже был в значительной мере прикован к своей мастерской. Но все же тут опыт шире, хотя и неособенно широкий: горизонт, ограниченный целым, правда, городом, но только своим городом. Когда в наше время употребляют выражение „мещанин" в порицательном смысле, под этим обыкновенно и подразумевается такой тип: индивидуалист с авторитарными наклонностями в отношении ко всем тем, кто ему подвластен, с узким опытом, кругозором маленького района. Эти три элемента составляют тип мещанина, в том смысле, в каком, например, Горький писал о мещанах. Формально „мещанин" обозначает просто городского жителя, т.-е. определенное сословие; но в литературе теперь чаще встречается другое значение и другое определение этого слова, порицательное.

Итак, люмпен-пролетариат, в общем, принес с собой мещанскую психологию в дурном смысле этого слова. Была ли она уже ослаблена самой утратою мещанской позиции в обществе? Индивидуализм, эта основная черта мелкого собственника, мог ли ослабеть, или должен был усилиться за последнее время отчаянной борьбы, когда мелкие собственники, под действием стихийных социальных сил, шаг за шагом отступали по пути разорения, шаг за шагом теряли мелкую собственность? Когда за что-нибудь приходится отчаянно бороться, это становится дороже или менее дорого? Если он боролся за свою собственность, за свое индивидуальное хозяйство, и боролся отчаянно, если это частное хозяйство, его собственность у него отнимали, то очевидно, оно от этого становилось еще дороже; а если так, то индивидуализм, который из этого вытекает, должен был усиливаться, обостряться. Поэтому мы можем сказать, что новый пролетариат вступал в жизнь с обострившимся индивидуализмом: т. е., каждому из них только до себя, до своих интересов и было дело, потому что последние стадии его жизни мелкого собственника были стадиями отчаянной борьбы за себя, за свою собственность, за свое хозяйство. Это так всегда бывает при подобных условиях [1]). Что касается авторитар-

---

[1]) Професс. Н. Рожков утверждает, что первоначальное христианство было религией социально-погибавших мелких собственников античного

ных элементов мещанской психологии, которые и раньше не стояли на первом плане, то они едва ли могли усилиться в связи с процессом разорения мелкого хозяина, скорее, напротив, могли ослабеть с упадком сознания своей силы; но исчезнуть, разумеется, не могли, пока существовал их оплот — старая семья.

Вот, следовательно, элементы, из которых складывалось культурное состояние нового пролетариата. Представим себе теперь его быт. Основные его черты намечаются сами собой. Отношение к труду — разумеется самое отрицательное: это был труд на других, а тогдашний пролетариат ведь бывший собственник, недавно работавший на себя. Какой у него был идеал в то время? Вернуть себе хозяйство. Этот идеал в прошлом, еще глубоко владевший душою бродяги пролетария, не мог сделать благоприятным его отношение к труду на других, тем более, что и труд был чаще всего новый, непривычный, и тем более тяжелый. Итак, преобладали отвращение, антипатия к своему труду. В то же время удавалось ли когда-нибудь этому пролетарию вернуть свое, частное хозяйство? Во всяком случае, разве только единицам из тысяч или даже миллионов; а в общем это было безнадежное дело, усилия бесплодные. Если так, то могло ли быть культурное его настроение бодрым, высоко активным, боевым, или нет? Нет, не могло: поражение он уже потерпел, усилия вернуть прежнюю позицию бесплодны, приходится заниматься трудом, который внушает отвращение. Очевидно, это было подавленное культурное состояние, без веры в свои силы, без стремления к творчеству.

С другой стороны все же тут было и нечто новое, возвышающее. В этот новый для него мир пролетарий является с жалким опытом своей колокольни. Он бродит по свету, попадает сюда, туда, делает поневоле одну работу, другую, третью. Это очень важно для развития, и в этом отношении пролетарий-босяк много выше прежнего крестьянина, выше даже ремесленника, выше той узкой среды, из которой он вышел. Следовательно, получается расширение опыта. Но расширение это здоровое или болезненное? Конечно, болез-

мира, его крестьян и ремесленников. Ясно, какая это невозможная вещь: элементы, индивидуализм которых должен был до крайности обостриться в последней борьбе за индивидуальное хозяйство, создали вдруг (ярко коммунистическую секту.

нено. Почему? Потому что это непривычная для него среда, полная ломка жизни, резкая смена всей суммы впечатлений. Итак, болезненное, мучительное, но огромное расширение опыта.

Теперь, какая именно идеология, т. е. какой способ мышления, какое отношение к жизни, к миру должно развиваться на этой почве? В окружающей среде господствуют и руководят ходом жизни классы буржуазные. Там имеется определенная, сложившаяся и прочная культура. В ней есть религия, оставшаяся от прошлого, но перестроившаяся в духе и в интересах буржуазных классов, есть многочисленные правовые нормы, есть установившаяся нравственность, сокровища искусства, богатство науки, — все это есть в старой культуре, окружающей пролетария. А как он может ко всему этому относиться? Например, вот нравственность окружающей его среды, нравственность, вся построенная на священном принципе собственности, — разделяет он ее или нет? Мудрено разделять, когда ему приходится нередко украсть для того, чтобы не умереть с голода. Мы знаем, босяки постоянно на границе уголовщины, и это невольно, в силу экономической необходимости. Значит, мораль эта не может его привлекать, он к ней враждебен, она мешает ему жить, а тем более не дает вернуть его прежнее положение. И надо заметить, что если кто из этого пролетариата и сумел вернуть себе обратно свое положение, то именно путем нарушения этой морали. Затем правовая система: государство с его законами, которые преследуют пролетария самым жестоким образом, которые устанавливают наказания за безработицу, наибольший рабочий день, наименьшую заработную плату, — может ли он к этой правовой системе относиться хорошо? Нет. У него неизбежно отрицательное отношение к ней. И вообще, может ли он в окружающей его культуре что-нибудь оценить? Нет, она просто вся не для него, лучшее в ней — искусство, наука недоступны ему. Итак, у него отношение к культуре окружающей всецело отрицательное, а своей культуры у него нет; что было, остатки, пропадают. Вывод: культурный нигилизм; можно прибавить аморальный, аморалистический, потому что в нем особенно своеобразно и ярко именно это отрицание морали. Если вам приходилось читать ранние произведения Горького, в которых описы-

ваются босяки, вы увидите там все существенные черты этого культурного состояния, аморально-нигилистического. Его герои, когда они талантливы или развиты, облекают это в сильные красивые фразы; но основа всего этого у них чисто инстинктивная, стихийная, они аморально-нигилистичны по своей социальной природе.

Жить им, однако, приходится тяжело, трудно. Индивидуальными усилиями часто и нельзя продержаться. Поэтому у них должно складываться что-нибудь другое, кроме голого индивидуализма и аморализма, необходима временная поддержка, какое ни на есть товарищество. И у босяков Горького такое товарищество имеется. Но что же, это товарищество прочное, устойчивое, организованное? Нет. Оно развивается, так как взаимная поддержка необходима; но когда люди по природе индивидуалисты, аморалисты, да вдобавок и положение их постоянно изменчивое, то они могут развить только слабую связь товарищества.

Вот, следовательно, первые стадии новой жизни новейшего пролетариата, стадии босяческого, люмпен-пролетарского существования, стадии наибольшего падения и очень смутных намеков на „подъем“. Эти намеки на культурный подъем заключаются, во-первых, в огромном расширении опыта. Пролетарий-босяк рано или поздно становится человеком опыта, хорошо ориентирующимся, ловким и быстрым в решениях. Затем намеки эти в слабом зарождении товарищества. Только тут элементы подъема. Пожалуй, до некоторой степени элементом подъема можно считать и отрицание старой культуры, хотя взамен этой старой культуры ничего еще нет.

Культурный подъем какого-нибудь класса возможен только тогда, когда этот класс приобретает все более и более важную роль в производстве. Следовательно, культурный подъем пролетариата должен был основываться на его экономическом подъеме, на усилении его роли в производстве. В данном случае, этот подъем и был основан на превращении первичного бродячего пролетариата в фабрично-заводский пролетариат. Именно там он приобрел эту огромную важную роль в производстве, которая дала ему совершенно новое положение в обществе. Проследим, как это произошло.

III. Культурная линия мануфактуры.

Фабрика возникла первоначально в виде мануфактуры, т.-е. предприятия, в котором собраны работники ручного труда. Мануфактура отличалась от ремесленной мастерской не только тем, что там больше было собрано работников, но еще тем, что в ней развивалось техническое разделение труда, т.-е. между работниками распределялись отдельные частичные операции производства. Ремесленники-мастера, подмастерья—всю работу делали каждый с начала до конца. В мануфактуре один рабочий выполняет одну какую-нибудь операцию, другой—другую, третий—третью, и т. д. Производство дробится сначала на более крупные элементы трудового процесса, потом на все более мелкие. Это давало возможность развить производство гораздо шире, и было нужно для создания массового производства тогда, когда еще не было машин. При отсутствии машин, массовое производство могло достигаться только путем такого усиленного дробления труда, разделения труда между работниками в мануфактуре. Но что при этом получалось? Дробление труда в то же время было дроблением работника. Работник стал, если можно так выразиться, частичным работником, сведясь к одной частичной трудовой операции. Вот, напр., кузнец. Работа кузнеца-ремесленника сложная и заключает в себе массу элементов, он имеет дело с разными орудиями, он выполняет разные операции, он должен взвешивать и соображать разные стороны дела. Эта работа сама по себе заключает широкий опыт. Но посмотрите на частичного работника в механической мануфактуре, где производятся, допустим, инструменты. Работник, положим, выковывает гвоздики, и даже не целые гвоздики, а производит только одну специальную операцию, напр., заостряет кусочки проволоки, из которых делаются гвоздики, или же

расплющивает другой кончик в шляпку: вот вся работа, которую он выполняет. В течение суток он делает десятки тысяч одинаковых движений, повторяя одни и те же усилия, получает от другого рабочего материал и передает следующему рабочему этот же материал, прибавивши к нему свою одну операцию. Какой же возможен широкий опыт в этом труде? Совершенно ясно, что здесь съужение опыта наибольшее. Что же, этот труд следует считать развивающим или отупляющим человека? Разумеется отупляющим. Это труд какой-то машины, между тем человек должен его выполнять. Конечно, такой труд удовольствия доставлять тоже не может, следовательно, приходилось его выполнять под суровой дисциплиной. В мануфактуре обязательно имелись надсмотрщики, либо сам хозяин все время следили и подгоняли рабочих: пустой, бессодержательной, каторжно-скучной работе соответствовала общая дисциплина, механическая, отупляющая.

С физической стороны такой труд не содействует развитию организма. Сравните кузнеца ремесленника и работника инструментальной мануфактуры. У первого очень развивается верхняя часть тела: грудь, руки, грудная мускулатура, но слабо развиты ноги. Это одностороннее развитие организма, но все таки значительное развитие, и кузнецы в большинстве случаев обнаруживают большую силу, ловкость и т. д. Но возьмите того мануфактурного частичного кузнеца, который все время производит один и тот же ряд ударов по кончику проволоки, может ли у него развиться широко организм, хотя бы в каком нибудь направлении? У него не будет общего развития, только специально разовьются некоторые мускулы; у него не будет той сметливости, и той общей ловкости, общей умелости, которая была у кузнеца ремесленника. Следовательно, тут получается не только одностороннее развитие, но прямо таки уродование организма. Результаты такого разделения труда можно было до последнего времени наблюдать у иных кустарей, у которых оно развилось по тому же типу, как в прежних мануфактурах. Напр., у нас в России, в разных местностях, гвоздари, т. е. кузнецы, которые производят специально только гвозди, обыкновенно бывали кривобоки, потому что у них очень однообразные движения развивали одну сторону организма

ненормальным образом. Получалось в результате такого узкого разделения труда уродование физическое, а еще больше, конечно, духовное.

Вот, следовательно, какого характера был этот труд. Роль рабочего в производстве как будто бы возросла. Он участвует в массовом производстве, и он необходимый элемент в целом производственном процессе; но работа его такая, которая человека дробит, суживает его опыт, притупляет его, уродует его тело и его душу. Таков результат технического мануфактурного развития труда. Это во-первых. Во-вторых, ведь рабочий класс поднимается постольку, поскольку в нем развивается солидарность, поскольку он сплачивается в силу коллективную. Как же было с рабочими мануфактур, — развивались в их среде солидарность, сплочение? Если вы примете во внимание такие обстоятельства, что один выполняет все время одну работу, другой другую, с ней совершенно не сходную, то чего следует ожидать, — что работа их будет связывать или разъединять? Скорее разъединять. Она связывает лишь постольку, поскольку один передает работу другому, но эта связь внешняя, а самая работа у них совершенно различна, она их разъединяет.

Представим себе это конкретно. Делаются гвоздики. Один режет проволоку на кусочки, а другой в то же время занят тем, что обтачивает один конец каждого кусочка — нисколько не похожая на первую работу; третий занят третьим: он расплющивает другой конец в шляпку. У каждого движение совершенно иное и иной силы, и оно порождает соответственно другое душевное состояние. У одного движения все время резкие, у другого все время плавные, у одного движения все время, допустим, прямые, у другого — скользящие, косвенные, и т. д. Все это создает в людях даже разные настроения: надо не забывать, что все состояние человеческого организма определяется его деятельностью. А здесь эта деятельность различается во всех частях и во всем своем стиле. Естественно, что получится разъединение. Итак, мы видим, что содержание труда разъединяет рабочих.

Затем их заработная плата. Для объединения важна общность интересов. Но, когда все работники выполняют разные операции, с различным напряжением и различной сложности, то заработная плата у них также неизбежно

держится на разном уровне. Правда, там есть слой чернорабочих, у которых плата однообразна; но это как раз наименее устойчивый элемент мануфактуры, наиболее близкий к первичному, люмпен-пролетарскому типу. Главный же элемент мануфактуры—ручные специальности; а у них каждая работа требует особого обучения и навыка, особой степени развития ловкости и силы. Стоит только сравнить в той же инструментальной мануфактуре кузнецов-молотобойцев, от которых требуется огромная сила рук и стана, и, напр., рабочих, режущих проволоку. В общем, значит, разъединяет работников и уровень платы.

Итак съуженный опыт, притупляющий труд, отупляющая дисциплина, уродование организма, разъединение самым содержанием труда и разъединение уровнем платы. Может ли тут сложиться коллектив? Нет, конечно не может. Эпоха мануфактур и характеризуется полным упадком рабочих организаций. У подмастерьев организации были, а у мануфактурных рабочих не было. Весь период мануфактур был периодом раздробленности пролетариата. В его среде было не больше связи, чем у босяков; уровень товарищества был, может быть, еще ниже. Это картина вырождения, а не культурного подъема, господства тенденций дегенеративных. Тут можно прямо принять культурную безысходность; и все-таки это необходимая ступень развития.

На что больше всего похож рабочий мануфактур в своей работе? На машину; это человек-машина. Такова и была историческая миссия мануфактуры: создать человека-машину, упростить труд до степени механизма. А раз создан человек-машина, то его работу можно и передать машине. Раз труд упрощен до элементарных механических движений, то эти движения может выполнять машина. Напр., устроить машину, которая бы шила сапоги, очень трудно, но построить машину, которая бы резала из кожи подошвы, совсем не столь трудно. И тогдашняя механика могла уже к этому подойти.

Итак, вот миссия мануфактуры. Она, превративши человека в машину, привела к тому, что только один шаг оставался до замены человека машиной, до перехода к машинному производству. Но машинное производство и есть начало действительного подъема пролетариата, действительного

творчества пролетарской культуры. А линия мануфактуры есть линия сама по себе упадочная.

Так сложны пути исторического развития рабочего класса. Пролетариат выходит из класса мелких собственников, выходит путем деклассации, падения „на дно“ общества в виде люмпен-пролетариата; но как-будто этого падения еще не достаточно. Начинается линия мануфактуры и принижает человека до машины. Ведь, даже босяк Горького во многом выше этой машины,—так что именно тут упадок наибольший. И вот тогда то начинается подъем. Человека довели до уровня машины; а затем эту роль его передают машине, и он получает вновь роль человека.

IV. Линия машинного производства.

А. Роль работника в производстве.

Исследуем культурное влияние машинного производства на рабочий класс. Машинное производство характеризуется тем, что между работником и природой выступает новое могущественное орудие, которое выполняет механическую сторону работы, не только грубую, но часто и в высшей степени тонкую механическую работу. При этом меняется весь характер деятельности работника.

Ручной работник мануфактур сам представлял из себя нечто вроде живой машины, и был подчинен надсмотрщику, подчинен суровой дисциплине, почти принудительному труду. Машина сначала появилась в виде сравнительно простых и грубых приспособлений, которые выполняли только операции, требующие особенной механической силы, в роде выкачивания воды из шахт, дробления руды и пр. И развивалось машинное производство весьма постепенно. Постепенно машине передавались все более и более тонкие функции. В начале, пока машина была еще довольно грубым орудием, работник представлял из себя как-бы ее механическое дополнение. Он в сущности был подчинен машине. Он по прежнему являлся работником ручного труда, и труда частичного, съуженного, потому что труд при такой машине, которая сама выполняет только какую-нибудь простую операцию, прислуживание этой машине, есть, конечно, работа чрезвычайно простая, чрезвычайно мало содержательная, и почти всецело ручная, потому что умственного напряжения не требует. Пример — хотя бы работа закрывания и открывания клапанов при первых паровых машинах. Приставлялся работник, который открывал сперва один кран, а

другой закрывал, потом наоборот, и т. д. Это не лучше и не сложнее самых детальных операций в мануфактуре [1]).

Но по мере того, как машина усложняется, берет на себя более сложные и более тонкие операции, изменяется положение работника по отношению к ней. Все больше и больше он перестает быть простым ее дополнением. Он принужден управлять ею, потому что ее движения становятся сложнее. Меняется характер его усилий, меняются и те требования в смысле подготовки, которые предъявляет к нему машина. Его усилия уже не только грубо-физические, уже не только упрощенный ручной труд. Нет, ему приходится внимательно наблюдать за движениями машины, контролировать их, вмешиваться в них, изменяя в том или другом смысле их направление, скорость, силу и т. д., вообще, регулировать их. В случае нарушения хода, а нарушения, конечно, тем чаще, чем машина сложнее, ему приходится соображать и решать, что именно надо сделать, проявлять инициативу, быстрое соображение и самостоятельность решения. И все это тем в большей степени, чем машина совершеннее и сложнее. Следовательно, какой характер тут имеют усилия? Руки работают, но, в сущности, относительно мало; большую часть механических воздействий выполняет сама машина; со стороны человека их гораздо меньше, чем прежде; зато приходится наблюдать, соображать, регулировать, вмешиваться, и иногда вмешиваться при таких условиях, что нужно воздействовать очень сложно; при каком нибудь необычном нарушении хода нужно думать, как поступить, и приходится решать, основываясь на точном понимании того, как устроена машина. Мы видим, что все это—умственные усилия: внимательная работа, конечно, есть напряжение „духовного“ характера, а тем более работа регули-

---

[1]) Пустота и бессодержательность этой работы повела к важному шагу вперед в развитии паровых механизмов. Мальчику, приставленному к такой машине, было скучно делать все одно и то же, и хотелось играть. Он связал краны с движущимся шатуном веревкой таким образом, что когда поршень доходил до одного конца цилиндра, закрывался один кран и открывался другой, когда поршень доходил до другого конца, то наоборот; и мальчик мог уходить от машины. Это было зародышем золотника. На этой иллюстрации ярко выступает и механизация человека, и легкость, на ее основе, замены его механизмом.

рования, тем более инициатива и обдумывание при вмешательстве, когда нарушается ход механизма; ручные усилия отступают перед умственными.

Вместе с тем иная, чем прежде, требуется и подготовка. Подготовка ручного работника, это и была по преимуществу ручная физическая подготовка Здесь дело другое. От рабочего требуются усилия умственного характера, и при том длительные, постоянные усилия; следовательно, требуется непрерывная умственная активность; и в то же время необходимо понимание механизма, сути и связи его действий соотношений между его частями. А ведь, механизм, в особенности сложный, есть произведение высоко развитой науки. Требуется сообразительность, которая может быть развита только умственным упражнением, инициатива, которая опять таки предполагает известную духовную культуру. Все эти требования совершенно иные, чем для ручного работника мануфактуры. Там от него не требовалось длительного и напряженного внимания, потому что работа чисто механическая, делалась почти бессознательно; там от него не требовалось особенной сообразительности, надо было только хорошо выработать движение своих рук; там не требовалось от него никакой инициативы, ему приходилось делать все одно и то же. А тут все это необходимо, и означает существенно иной характер труда, иной характер подготовки.

Что же это за характер, что же это за подготовка? Различаются два основных вида труда: организаторский—труд руководителя и исполнительский - труд того, кто выполняет, подчиняясь указаниям. Это разделение труда самое глубокое, какое мы знаем в истории человечества. Его сравнивают с разделением функций головы и рук. Организатор есть как бы голова, которая управляет движениями рук, представленных исполнителем. Посмотрим, какого рода бывают усилия организатора, когда ему приходится руководить работою разных исполнителей. В общем, они таковы: ему надо проявлять инициативу, организуя распределение труда и приказывая начать его; надо внимательно наблюдать за ходом всего дела; надо соображать так ли оно выполняется, как надо; вмешиваться при всяких нарушениях нормального хода; надо регулировать, управлять. Эти усилия как раз-

того же рода, какие приходится выполнять работнику при машине. И действительно, работник при машине управляет ею, как тот прежний организатор-руководитель управлял работниками. И в то же время работник попрежнему остается подчиненным, остается исполнителем.

Что такое машина? Машина заменила прежнего ручного работника; она, таким образом, есть своего рода железный раб: работник управляет железным рабом. Разница с прежним организатором та, что тот управлял рабом живым, а этот—мертвым, железным. Но тип подготовки тот же: требуется—способность к значительному вниманию, к соображению, к инициативе, общее понимание всего дела в целом и в частях, словом, действительно подготовка организатора. Но есть и разница; а именно, организатор не был в то же время исполнителем, организатор не был человеком физического труда, организатор руководитель обыкновенно только приказывал, а работник руководитель, конечно, приказывать не может, машина не понимает, не слушается, и он сам на нее воздействует руками. Оказывается, что этот труд есть и организаторский, и вместе с тем исполнительский, усилия того и другого типа объединены в одном лице. И подготовка здесь все таки необходима и другая. В физической части этой работы нужно физическое умение, ручная сноровка. Напр., хотя бы рабочие механического производства: им нужна также и совершенно специальная ловкость, специальная физическая умелость, тренировка рук, следовательно, и по характеру усилий и по характеру подготовки работник машинного производства, по мере своего развития,—потому что, надо не забывать, это развитие долгое,—превращается в настоящее соединение прежде глубоко разделенных видов труда, организаторского и исполнительского. Превращение шло весьма постепенно, этот долгий путь и теперь только частью еще пройден. Это путь, в начале которого рабочий подчинен машине, как ее живой придаток, и в котором затем он не только дополняет машину своими усилиями, но и управляет ею, а дальше, все более и более становится настоящим руководетилем железных рабов.

Высший тип механизма, применяющийся в производстве до сих пор, представляют так-называемые автоматические, самодействующие механизмы. Это такая машина, что в нее

вкладывают материал, и она с другого конца выбрасывает готовый продукт. Подобного типа машина заменяет иногда тысячи работников. Напр., булавочная машина приготовляет из доставляемой ей проволоки в течение дня около 180 тысяч булавок; и один работник может управлять сразу 10—15 такими машинами. Сколько надо было бы рабочих, чтобы выполнить эту работу руками! При таком устройстве машин обычная физическая деятельность работников уже совсем незначительна — они только доставляют машине материал; но в то же время такие механизмы особенно сложны. В них особенно много различных приспособлений, которые все надо иметь в виду, которые надо постоянно внимательно наблюдать и регулировать в их действии. И понятно, такой аппарат, по своей сложности, может в разных частях не редко испытывать различные нарушения нормального хода; и тогда работник должен энергично и быстро, активно и строго целесообразно вмешиваться, потому что чем более сложна машина, тем легче она и портится. Очевидно, автоматический механизм требует еще большей культурности, большей интеллигентности, чем машины менее высокого типа. До сих пор автоматические механизмы имеются в не большом числе отраслей производства; а между тем уже намечается новый тип, еще более высокий, еще более сложный — механизмы саморегулирующиеся, которые не только сами целиком выполняют техническую задачу, но, в случае нарушения своего хода, сами эти нарушения исправляют. В производстве еще нет таких механизмов, хотя есть их элементы, т. е. то, из чего они разовьются; это так наз. регуляторы. Во многих машинах есть регуляторы, которые восстанавливают их нормальный ход в каком-нибудь отношении. Уже у такой сравнительно элементарной машины, как паровая, имеется всегда регулятор пара, который при чрезмерном давлении пара его выпускает, предотвращая взрыв и восстановляя нормальное давление. Это самый простой случай. Но есть и другие, более сложные регуляторы: регуляторы скорости, температуры, силы тока и т. д. Но это только зародышевые части будущих саморегулирующихся механизмов. Настоящие такие механизмы сейчас существуют лишь в военном деле. Есть, напр., саморегулирующиеся и самодвижущиеся торпеды, подвижные мины,

которые, будучи раз спущены, плывут под водою по одному направлению, а при всяком отклонении, когда оно возникает благодаря течениям, волнам, случайным толчкам, сами его исправляют с помощью своих плавников, соответствующим образом поворачивая их, и таким образом принимают прежнее направление. Это очень сложный механизм, высоко совершенный. Есть в артиллерийском деле и другие такие механизмы; напр., какое-нибудь скорострельное орудие имеет массу автоматически-регулирующих приспособлений; применяются и воздушные мины с подобными приспособлениями. Но все это пока только в военном деле. Почему именно там? Потому что в производстве пока еще такие орудия невыгодны: слишком они сложны, и при них нужно иметь работников высоко-интеллигентных, с высоким техническим образованием; а между тем, раз уже имеются машины автоматические, то сравнительно с ними саморегулирующаяся машина сбережет труда немного. Без сомнения, она его сбережет, и притом регулирует совершеннее, чем работник своими руками; но для капиталиста-предпринимателя этого недостаточно: он всецело стоит на точке зрения прибыли. Машина сложная очень дорога, рабочих сил сберегает немного, процент прибыли от нее на большой капитал, которого она стоит, будет слишком для него мал. Поэтому в производстве они не применяются, а в деле истребления применяются: там-то, ведь, не приходится вести расчет на прибыль. Там не в прибыли дело, а в том, чтобы достигнуть цели во что бы то ни стало; и следовательно, там вполне достаточно того, что эта машина точнее, совершеннее, лучше достигает цели,—чтобы ее ввели. Это одно из характерных противоречий капитализма: техника истребления у него прогрессивнее, чем техника производства.

Ясно, что при таких саморегулирующихся механизмах,— которые в производство будут введены только при коллективистическом строе,—организаторский и исполнительский труд окончательно соединены. Работник становится организатором, научно-образованным, потому что работник иного типа не в состоянии был бы управлять подобным механизмом. При механизме современном работник должен обладать некоторыми общими знаниями и техническим пониманием,

но настоящих научно-технических знаний он может не иметь, — их имеет инженер. А при механизме саморегулирующемся работник превращается в инженера - точнее, становится одного типа с инженером; он может меньше знать по количеству, но его знания должны быть того же качества и характера; требуется та же основная и общая подготовка, чтобы следить за многими регулирующими приспособлениями. Они, конечно, сами выполняют работу регулирования, но надо следить за тем, как они ее выполняют, быть их высшим руководителем: сопоставлять данные об их действии и делать сложные выводы. Затем, их нарушения гораздо сложнее, и вмешательство тогда труднее, оно требует высокого технически научного опыта. Но это еще недостигнутая ступень развития; а пока, в настоящее время, работник машинного производства все таки уже является соединением работника-руководителя и работника-исполнителя. А раз это так, то меняется и характер отношения работника к труду.

Работник и чернорабочий мануфактуры могли относиться к своему труду или равнодушно, или прямо-таки враждебно, как к своего рода каторге, делу принудительному и неинтересному. Первичный пролетариат относился к труду вообще скорее отрицательно, как к необходимому злу. Работник мануфактуры, при большой механичности его работы, относился бы к труду просто равнодушно, если бы не утомлялся его однообразием; отношение во всяком случае, не положительное, а скорее тоже отрицательное. Но работнику сколько-нибудь развитого машинного производства невозможно было бы сколько-нибудь успешно выполнять свое дело, если бы у него сохранялось такое отношение к труду: стоит только представить себе работника, у которого взгляд на работу, как на каторгу, и который, однако, должен внимательно, непрерывно, зорко, с точным соображением регулировать действия механизма—это будет никуда негодный работник. Нельзя постоянно хорошо соображать, точно и быстро действовать, если это не становится для работника положительным фактом, если во все это он не вкладывает души. Нет, работник-организатор и исполнитель одновременно при машине не может не относиться к своему труду положительно, т. е. не может не рассматривать его, как необходимую, есте-

ственную, нормальную и в той или иной степени даже приятную часть своего существования; иначе он был бы плохой работник. И это новое отношение к труду становится возможным по мере развития машинного производства, потому что работа заключает все больше разумного смысла, и не имеет такого механически-бессмысленного, каторжного характера, как работа чисто исполнительская в мануфактурной стадии.

Следовательно, машинное производство превращает пролетариат из класса отрицательно-трудового в положительно-трудовой, т.-е. в класс, проникнутый трудовым сознанием, проникнутый положительным отношением к труду, класс, сознающий значение и ценность труда. И, конечно, этому чрезвычайно содействует высокая производительность труда. Работник видит, какие громадные результаты получаются от его усилий; и у него, конечно, не может быть такого отношения к труду, как у прежнего работника, который с громадными усилиями достигал небольших результатов.

Итак, вот первый элемент пролетарской культуры, выдвигаемый машинным производством,—это элемент труда. Пролетарская культура проникнута трудовым принципом, весь быт рабочего класса определяется его трудом. Все его существование приспособляется к его труду. В мышлении работника идея труда занимает центральное место, это его исходный пункт. В его мире чувствований опять-таки развивается, во-первых, *любовь* к труду, во-вторых, *гордость* труда, потому что он видит постоянно на своей работе, как труд побеждает природу, побеждает стихии. Все это делает машина, которая несет с собою осознание труда, машина—стихийные силы, которые ему служат, и производят громадную работу, явную для его наблюдения.

Это первый элемент или первый момент пролетарской культуры. Но является ли он исключительно пролетарским? Он не стоит в противоречии с культурой некоторых других трудовых классов. Ведь пролетариат не единственный трудовой класс. Крестьянство тоже трудовой класс, интеллигенция вообще—служащая интеллигенция: техническая, конторская и т. д.,—тоже трудовой класс. Их культурное направление, следовательно, тоже должно быть трудовое. Противоречия культурного нет, но есть разница. Возьмите труд кресть-

янина; это труд, тоже большей частью любимый человеком: крестьянин тоже положительно относится к своему труду. Но там царит подчинение условиям природы: от стихийных сил—дождя, температуры, засухи, града, зависят результаты этого труда. В этом труде человек чувствует свое подчинение стихиям, и в нем развивается не гордость труда, а своеобразное смирение труда; не гордость трудовой власти над стихиями, а сознание того, что есть какие-то высшие силы над человеком, от которых зависят результаты его усилий. Это смирение труда и своеобразное сознание господства над ним стихийных сил есть именно то, что называют „властью земли". Как видим, тоже трудовая культура, но другого рода; мотивы, чувства, самосознание труда в ней совершенно иные, чем у пролетариата.

Что касается трудовой интеллигенции, то у нее мотив гордости трудовой, обыкновенно, найдется, потому что она представительница науки, которая действительно побеждает стихии. Но у нее самая идея труда несколько другая. В ее труде физические усилия играют ничтожную роль; в нем она не стоит прямо лицом к лицу с природой, не действует прямо на стихийные силы. Ее труд—это почти всецело труд головы, а не рук,—не целостный труд, а частичный. Поэтому в культуре трудовой интеллигенции самая идея труда не заключает непосредственного соприкосновения, непосредственной связи с природой, с ее стихиями; и вообще идея труда является, благодаря этому, сравнительно смутной, потому что цельной и ясной идея труда бывает только тогда, когда в ней объединена и головная работа и работа рук. Тогда это действительное и полное понятие о борьбе с природой, борьбе силою духа и силою тела, т. е. силою мозга и силою мускулов. А когда имеется работа только умственная, мозговая, как это бывает в общем для интеллигентов, тогда идея труда смутная, неполная.

Таким образом, хотя трудовой элемент пролетарской культуры и не разъединяет прямо пролетариат с другими трудовыми классами и с их культурами, но его отличает от них новая идея труда. А дальше следующие моменты пролетарской культуры представляют уже более глубокое расхождение с другими трудовыми классами.

В. Товарищеское сотрудничество.

Второй элемент пролетарской культуры—товарищеское сотрудничество. Это особая форма сотрудничества людей, которая возникла впервые, конечно, не с пролетариатом, а существовала и гораздо раньше, но только в неразвитом, в зачаточном состоянии. Так, старинная община, земледельческая община феодальной эпохи представляла товарищеское объединение крестьян, мелких хозяев, ремесленные цехи—товарищеское объединение мастеров, тоже мелких хозяев—другого рода. Но здесь товарищеское сотрудничество не охватывало и не проникало собою всю жизнь людей. Индивидуальный собственник, мелкий хозяин только слабо и частично мог быть связан с другими такими же хозяевами-собственниками товарищеской связью. Над ним господствует индивидуализм, т.-е. склад ума и чувства, при котором в центре жизни ставится отдельная личность, личное я. Мелкий хозяин-собственник сосредоточен на себе и на своем. Кроме того, в своем личном хозяйстве и в домашнем быту он властитель, авторитет, т.-е. опять-таки его связь с домашними не может быть товарищескою. Более развитое, более высокое товарищество было у подмастерьев. Здесь слабее индивидуализм; но он есть и играет большую роль в жизни, потому что задача подмастерья—выбиться из своей среды в мастера. К тому же здесь есть и другое условие, которое мешает развитию товарищеского сотрудничества, мешает именно развитию его в ширь,—это то, что товарищами подмастерью являются только подмастерья его ремесла, а не других ремесл. Разъединение профессиональное мешает расширению товарищества. Поэтому-то, как мы видели, союзы подмастерьев и не выходили за пределы ремесла.

У первичного пролетариата, босяческого, имеется также слабоее товарищество; но оно только слабое, потому что, как было выяснено, пролетарий на этой ступени еще индивидуалист, еще полон воспоминаниями своего мелкособственнического существования, и к нему стремится. В том существовании он был не только собственник, но и господин над своей семьей, следовательно, он индивидуалист

еще со склонностью к авторитарному положению, т. е. к захвату власти над товарищами. Это товарищество, таким образом, и не развитое, ограниченное индивидуализмом и авторитарностью, и слабое, тем более, что благодаря бродячему быту в среде люмпен-пролетариата вообще связь непрочная, постоянно меняющаяся и разрывающаяся.— В мануфактуре, мы видели, товарищество развивалось очень мало, чуть ли не еще слабее. В мануфактурной ручной фабрике старых времен ему препятствовали и узкая специализация ей свойственная, и различие интересов, связанное с постоянными различиями заработной платы, и вообще узость трудового опыта, и особенно отсутствие общности в самом труде: занимаясь разной работой, люди плохо друг друга понимают. Отсюда-то и получилась та неспособность организоваться, которая свойственна рабочим мануфактурного периода. Начало новейшего и высшего развития товарищества лежит опять-таки в машинном производстве, в сотрудничестве мастерской.

Здесь прежнее разъединение, зависящее от специализации, теряет свою остроту, теряет свою обособляющую силу, потому что труд становится все более однородным у разных работников. Труд при машине представляет соединение организаторского и исполнительского, головного и ручного, при чем преобладает как раз труд головной, труд организаторский; а именно он гораздо более сходен даже при самых различных машинах. Труд внимательного наблюдения, контроля, инициативного вмешательства, соображения—ведь это труд, в общем одинаковый, с такой машиной или с другой. Различны, конечно, движения, которые приходится делать работнику, но это не главная часть труда. Таким образом специализация, прежде разъединявшая людей, как бы переносится на машину, а люди становятся гораздо более близки, однородны и сходны в своем труде. В связи с этим и различия в заработной плате, ведущие к раздельности интересов, уменьшаются и становятся непостоянными, менее устойчивыми, так как гораздо легче переход от одной работы к другой, и гораздо быстрее достигается, при соответствии культурного уровня, конечно, переход от низших к более высоким. Следовательно, то, что разделяло людей в прежнем труде, уходит, теряет значение, а складывается возрастающая

общность в труде, возрастающее сходство человеческого опыта, человеческих переживаний.

При этом неизбежно развивается и взаимная поддержка. При работе, в мастерской имеется постоянный обмен взаимной помощью, и указаниями, и советом, и взаимной заменой. Напр., десятки, сотни текстильщиков в одной мастерской работают с одинаковыми ткацкими станками. Конечно, каждый из них в минуту надобности может дать и указание другому, и прямо помочь активным вмешательством, а когда другой принужден оторваться, то заменить его. Но даже если машины частью различные, как нередко в больших механических мастерских, рядом станки разного рода и типа, так все-таки благодаря общей основе научной техники каждый работник для другого часто имеет возможность оказать содействие и руководством в нужный момент, когда тот, напр., просто потерялся при нарушении хода механизма, и прямым содействием, когда у того не хватает, напр., силы или когда не хватает двух рук.

По всем этим причинам в мастерской эпохи машинного производства взаимная поддержка и взаимная замена развиваются несравненно больше, несравненно быстрее, несравненно глубже, чем в каких бы то ни было прежних объединениях. И так как необходимо присоединяется общность интересов, общая борьба за заработную плату, то здесь неизбежно зарождается новый дух, дух товарищеского сотрудничества или, что то же, дух коллективизма.

Там он зарождается, там закладываются основы, а растет он в ширь за пределами мастерской. Товарищество развивается дальше в классовой борьбе, в отстаивании своих интересов и в организации, которая создается этой борьбой. Стачка—это, конечно, товарищеский союз борьбы, временный, но иногда очень глубоко, иногда очень сильно захватывающий людей. Стоит только вспомнить те упорные жестокие стачки, при которых каждому участнику приходится приносить массу жертв для общей победы. А когда на почве такой борьбы зарождается союз, то он представляет уже постоянное товарищеское объединение, и в таком союзе организация вся товарищеская. Коллективное обсуждение, коллективное решение и затем коллективное исполнение того, что принято —

это и есть товарищеское сотрудничество. В своей развитой форме оно именно таково: решает коллектив путем общего обсуждения, исполняет коллектив через всех своих членов, которые участвовали в выработке этого решения, и, следовательно, его принимают. Это совершенно особая форма сотрудничества, не похожая на прежние, на те, которые господствовали до нее. Она не похожа на сотрудничество организаторов и исполнителей. Организатор стоит над исполнителем, он ему приказывает; он от него существенно отличается по своему положению в труде. Здесь организатором являются все вместе в их обсуждении, в решении; исполнителем также все вместе в тех действиях, которые вытекают из принятого решения. Не похоже это сотрудничество на прежнюю техническую специализацию, потому что в обсуждении-то все одинаковы, все равны. В исполнении они, правда, могут брать на себя разные функции, но связь этих функций ясна их сознанию и чувству.

Не похоже товарищеское сотрудничество и на то анархическое общественное разделение труда, которое существует между независимыми товаропроизводителями: они решают каждый сам за себя и действуют обособленно, а связываются лишь путем рыночного обмена, который воспринимают как борьбу интересов, а не как живое единение.

Итак, вот высшая форма сотрудничества. В пролетариате новейшем, индустриальном она достигает наибольшего развития, и, главное, она развивается все дальше и дальше, неограниченно. Общность углубляется. Чем больше люди привыкают работать вместе, действовать сообща, поддерживать друг друга, тем больше они при этом и понимают друг друга, тем более они и обмениваются своим опытом, своими мыслями, своими чувствами, и тем больше возрастает самая общность, их взаимная связь, связь товарищеская, коллективизм. Эта связь все больше очищается от прежних элементов индивидуализма и авторитарности. В начале индивидуализма—масса. Вы знаете, что пролетарий-босяк индивидуалистичен, пролетарий мануфактуры индивидуалистичен, и таков же в начале пролетарий машинного производства. В начале он на других пролетариев смотрит, как на своих конкурентов; но взаимная поддержка, взаимное общение и сознание невозможности улучшить свою жизнь иначе, как

сообща, устраняют эти остатки индивидуализма. Точно также слабеет и исчезает стремление к власти над другими, к авторитету, слабеет и исчезает, потому что работник привыкает смотреть на других, как на равных по существу; он на опыте убеждается, что другие, даже когда они физически и духовно слабее его, также могут быть ему полезны при случае и руководящим указанием и всяким содействием; так что авторитарное настроение, связанное с представлением, что один человек выше, другой ниже, это настроение отмирает, слабеет; а товарищеская связь углубляется и очищается от его остатков.

Это ее развитие с внутренней стороны. В то же время с внешней стороны она расширяется, охватывает все большие и большие круги. Сначала это товарищеская связь предприятия, потом это товарищество профессиональное, захватывающее множество предприятий, потом федерация союзов, охватывающая разные профессии, и рядом с этим товарищество политической борьбы, окончательно выходящее из рамок всех профессий; а в конце концов, это товарищество переходит рамки даже национальные, рамки государственные, и становится международным.

Таков рост его внешней стороны, рост его широты. Тот и другой идут параллельно — и рост внутренний и рост внешний: его очищение и осознание идут рядом с его расширением. Но надо помнить, что это процесс долгий, что он в настоящее время еще идет, и нельзя считать, чтобы он всюду сколько-нибудь завершился. В начале, когда пролетарское движение идет почти бессознательно, почти стадно,—таковы всюду первые стадии рабочего движения,—то и товарищеская связь имеет такой характер, в котором легко прямо видеть эту массовую как бы стадность.

Так, наш русский пролетариат имеет за собой уже несколько десятков лет развития; но все же он находится на разных ступенях товарищеского сознания. Товарищеская связь неодинаково глубоко, неодинаково полно сознается, неодинаково сильно чувствуется в разных его частях; и даже его передовые элементы нередко обнаруживали неполноту, смутность товарищеского сознания. Напомню эпизод из 1913 г., т.-е. всего каких-нибудь шесть лет тому назад. В Петербурге пролетарии общими усилиями основа-

ли рабочую газету „Правда“. Они для нее нашли интеллигентов руководителей, литераторов, но в действительности главная доля усилий, главная доля работы была выполнена, несомненно, рабочими: не только ими было сделано почти все в добывании средств и в технической организации, но и в литературной стороне дела они участвовали весьма значительно. И вот в этой „Правде“, в рабочем органе, который выражал уровень сознания передовых петербургских рабочих, приходилось читать вещи прямо чудовищные с точки зрения широкого, развитого сознания класса. Напр., приходилось прочитать статью, написанную товарищем-рабочим, в которой выражалось негодование по поводу того, что во время стачки рабочих известной фабрики, некоторые из этих рабочих поступали на другие, конкурирующие фабрики, на которых забастовки не было, что они отрывались от своего коллектива, ведущего стачку, и тем „изменяли“ ему. Таким образом представление здесь было такое: надо непременно держаться всем вместе, так сказать, толпой, стадом, не переходить на другие фабрики, и даже не переходить именно во время забастовки, когда это в высшей степени выгодно и полезно для забастовщиков. Ведь, очевидно, что если другие капиталисты, конкурирующие с данным предприятием, принимают к себе бастующих рабочих из него, то они ставят в трудное положение борющегося со стачкой предпринимателя, так как ему трудно потом набрать себе рабочие силы. В то же время забастовавшие рабочие, переходя на другую фабрику, не нуждаются сами в поддержке, и могут поддерживать своих остальных товарищей. Значит, с точки зрения развитого товарищества, это—наилучшее, что можно сделать, и что, к сожалению, редко удается, потому что капиталисты не лишены тоже классового сознания, и стараются не принимать стачечников. Но с точки зрения первобытного стадного чувства это невозможно: „Как же так, – все должны быть вместе!“ И пришлось товарищу Степанову писать статью, что в Европе рабочие пользуются этим переходом, что это выгодно для борьбы, что дело не в том, чтобы на одной фабрике держаться, а в том, чтобы пролетариат в целом поддерживал друг друга, и т. д.

Вот первая стадия товарищеского сознания. На более

высокой ступени это сознание общих интересов в борьбе развивается дальше, но первоначально тоже в пределах профессий, как когда-то у подмастерий. Затем оно переходит эти пределы, становится широким, общеклассовым; и тогда оно становится также сознанием не только общности интересов в борьбе, но и общности жизни, общности творчества, становится культурным сознанием. Но даже и тогда оно вначале не переходит рамок государства, национальности. Его разъединяет особенно рознь языка. Люди хорошо понимают друг друга тогда, когда говорят на одном языке. Нередко и у нас, и в других странах наблюдалась и до сих пор еще наблюдается враждебность по отношению к пролетариям другой нации, другой расы, говорящей на чуждом языке. Вы знаете, как удавалось в России черной сотне возбуждать вражду у русских рабочих к еврейским; немалая была и у немецких рабочих вражда к русским, приходившим для работы в Германию. Там смотрели на них часто всецело как на конкурентов, сбивающих плату. В действительности это и есть; но тогда надо поднимать остальных чужеземцев до своего уровня, включать в свою организацию. А это не сознавалось, этого не делалось. И сейчас американские рабочие требуют часто запрещения въезда в Америку японских, и особенно китайских рабочих, требуют оградительных мер против своих товарищей из других стран. Эти культурные рамки, рамки языка, национальности, государственности чрезвычайно медленно преодолеваются. Но и они преодолеваются с течением времени: сначала только самыми передовыми элементами, в Интернационале, затем все больше преодолеваются и массами. Но это—процесс долгий, и он еще далеко не закончен. Мировая война показала, насколько глубоки и сильны эти культурные рамки. Оказалось, что пролетарии одной страны могли с полным убеждением, с полной искренностью вести истребительную борьбу против пролетариев другой страны за одно со своими капиталистами, защищая, как они были глубоко убеждены, свое отечество, т.-е., другими словами, нацию и язык. Внешняя культурная связь с чуждыми классами для них все еще была сильнее связи с пролетариями других стран. Мировая война обнаружила силу и прочность этих культурных рамок. Но вы-

шедшая из нее мировая революция окончательно разрушает эти рамки; и можно ожидать, как бы ни окончилась наша революция, хотя бы она даже кончилась поражением пролетариата, или переходом его под власть нового общественного слоя, но она, несомненно, навсегда уничтожит и разобьет международные рамки, разъединяющие пролетариат разных стран. А пока, во всяком случае, приходится наблюдать товарищеское пролетарское сознание одновременно на самых различных его ступенях в разных слоях рабочего класса.

Развиваясь в труде, развиваясь в борьбе, переходя всякие границы профессий, стран, культур, товарищеское сотрудничество пропитывает собою всю жизнь пролетариев и весь их быт. Развиваются товарищеские отношения не только между рабочими на одной или на разных фабриках, но в домашней жизни между рабочим и членами его семьи. Прежде пролетарская семья была точной копией или, вернее, просто продолжением семьи крестьянской, или семьи ремесленников, где глава семьи был ее господином, властным руководителем, требовал полного и слепого подчинения. Машинное производство разбивает эту форму. Оно, как вы знаете, делает женщину работницей прежде всего, следовательно, ставит ее в производственном смысле на одну доску с ее мужем. Более того, машинное производство вовлекает понемногу, иногда даже слишком сильно, и детей. Дети становятся рабочими, пусть рабочими слабыми, не квалифицированными, но рабочими, зарабатывающими и получающими в этом смысле начало экономической самостоятельности. И благодаря этому неизбежно меняются все отношения в семье. Пролетарий—отец и муж, не может смотреть на свою жену, на своих детей так, как смотрел крестьянин, как смотрел ремесленник, как смотрели, по крайней мере прежде, и в буржуазном быту: для рабочего жена, во-первых, нередко прямо является товарищем в работе, даже на фабрике; а если не является там товарищем, то он знает, что она может выполнять такую работу; поэтому, если она и ведет только домашнюю работу, он рассматривает эту работу с точки зрения товарищеской связи. Между тем для представителей всех старых культур, если женщина выполняет домашнюю работу, то эта работа представляется низшею, в роде работы прислуги, а не товарища. Точно также и дети.

Дети для пролетария это—будущие товарищи, к которым приходится и относиться так, как к будущим товарищам. Они становятся живым воплощением коллективно-трудовой связи поколений. И это сотрудничество поколений впервые глубоко освещается и осознается пролетарским коллективизмом. Недаром пролетарский авангард, непримиримый по отношению к „сотрудничеству классов“, так охотно, где это от него зависит, ставит памятники великим творцам и работникам прошлого, которые вовсе не были пролетариями: он сознает себя продолжателем их работы, видит в них товарищей по великому делу человечества [1]. Так в новой культуре меняется семейный принцип, как и все другие основы жизни.

Таков второй элемент пролетарской культуры—товарищество, коллективизм. Он, как видим, неразрывен с первым элементом: пролетарская культура есть культура *коллективно-трудовая.*

Здесь главное различие трудовой культуры пролетарской с трудовой культурой крестьянской и интеллигентской. Это именно коллективизм быта, коллективизм мысли. Мы видим, что такое коллективизм быта: отношение ко всем сотрудникам, близким и далеким, ко всем борцам за общее дело, ко всему своему классу, ко всему прошлому и будущему трудовому человечеству, как к товарищам, членам единого и непрерывного трудового целого. А что такое коллективизм

---

[1]) В своем докладе о пролетарском искусстве на I-й Всероссийской Конференции Пролеткульта я формулировал наглядно эту мысль в следующих словах:

„Товарищи, надо понять,—мы живем не только в коллективе настоящего,—мы живем в *сотрудничестве поколений.* Это—не сотрудничество классов, оно ему противоположно. Все работники, все передовые борцы прошлого—наши товарищи, к каким бы классам они ни принадлежали. Почему мы, социалисты, боремся с буржуазными классами настоящего? Потому, что они мешают продолжать дело истории, которое мы приняли от революционной буржуазии прошлого. Они изменяют этим своим предкам; те шли вперед, геройски борясь со стихиями истории, а эти говорят: „Стой, не хотим итти дальше, лучше отступить“. Мы же продолжаем наступление тех исчезнувших полков, и говорим буржуазии: „Вы одеты в их форму, но вы не те борцы, вы передались врагу, силам темного царства истории—и мы боремся против вас. А те—наши; хотя оружие у нас иное, и идем мы другим строем, но дело наше общее с ними,—борьба с мертвым за живое“.

мысли? То, что человек в центре своих усилий, и стремлений, своих мыслей, своих задач ставит не личное „я“, а товарищескую организацию—коллектив. Он уже и думает, представляя себе события жизни, таким образом, что подлежащее его мысли является не отдельным лицом, не „я“, „ты“, „он“, а коллективом,—„мы“, „вы“, „они“; в крайнем случае „они“—чуждый, но тоже коллектив.

Вот, положим какое-нибудь прекрасное сооружение; смотрят на него человек индивидуалистической культуры и человек коллективистической культуры. Что они в нем видят? Конечно, оба они видят красоту, величие, и т. д.; но что дальше, за этим? Пусть, напр., дело идет о Кельнском соборе. Индивидуалист сейчас же представляет себе всю гениальность архитектора, который это задумал; величие того властителя, который приказал это выполнить; и на последнем плане у него те сотни тысяч людей, которые это реально создали. Коллективист представляет себе, при виде того же сооружения, гигантскую сумму человеческого труда, которая в него вложена, и гигантскую сумму человеческого опыта, который привел к этому. Для него архитектор, задумавший этот план, есть совершенно случайное лицо, в котором собраны были и объединены опыт и знание, накопленные веками, собранные бесчисленными усилиями людей. А какой-нибудь властитель, который приказал это сооружение построить, для него совершенно случайный выразитель тех или иных общественных потребностей, тех или иных коллективных интересов, в данном случае—потребностей народа феодальной эпохи, интересов церкви. Это выразитель авторитарного мировоззрения, или, что то же, религиозного, свойственного всем сословиям Средних веков. Был бы у власти Петр, был бы Иван, то же приказали бы: совершенно случайно распорядилось именно данное лицо. Но вот—что в это вложен труд тысяч и миллионов людей, мысль веков, хотя мысль прошлого, отжившего, это не случайно, необходимо, это выступает на первый план, это он сразу понимает и чувствует, и красота для него имеет совершенно другой характер. Это коллективизм не только мысли, но и чувства.

Сравним еще специально человека нетрудового и работника. Когда человек нетрудовой смотрит, хотя бы, на

Эйфелеву башню, то его прежде всего поражает своеобразное изящество — точно кружево. Это первое сравнение, когда видите издали Эйфелеву башню: точно выступающий уголок тонкого кружева над горизонтом. Такова чисто внешняя сторона и чисто эстетическое впечатление, дальше которых не идет впечатление человека нетрудового. Но работник, сознательный, конечно, который видит это громадное сооружение колоссальной прочности, из миллионов пудов стали, связанных в тонкую сетку, тот, прежде всего, представляет себе и силу науки, т.-е. коллективного знания, и силу труда человеческого, труда коллектива. И потом уже, в связи с этим, так сказать на этой основе, для него выступает чисто эстетическая сторона. Напр., сравнение с кружевом, которое обыкновенно плетется индивидуальной работницей и с незначительным усилием, притом машинальным, полу-сознательным, едва ли даже придет в голову пролетарию.

Именно этот момент пролетарской культуры отличает ее очень сильно от всякой другой, всего больше, всего сильнее. Отличает ее не только от буржуазной культуры, и вообще нетрудовой, но и от трудовой—крестьянской и интеллигентской, потому что там коллективизм быта развит очень слабо, потому что там представления о сочетании массы усилий человеческих, о сочетании массы опыта, о связи работников, о связи поколений, выражены гораздо меньше, так как сама жизнь прямо не дает и не подчеркивает этого. Большинство крестьян живет своим личным хозяйством, сосредоточено мыслью и чувством на своем хозяйстве. Идея связи коллектива для такого мелкого хозяина—отвлеченная мысль, которую он понять может не скоро, даже когда она ему дана со стороны; и почувствовать ее смысл он может только с большим трудом. А интеллигент, это человек, который пользуется чужими усилиями, хотя и руководит ими. И опять таки, поэтому связь усилий коллектива ему гораздо менее близка В то же время это человек личной карьеры. Трудовой интеллигент есть человек, который имеет возможность личными усилиями, личным талантом, личным знанием пробить себе дорогу в жизни; и на этом сосредоточены его интересы; т.-е., на своей личности, на своем „я“. И опять таки мысль о коллективе при этом сама собою от-

ходит на второй план. Следовательно, и в крестьянской и в интеллигентской культуре коллективизм остается в скрытом состоянии, он подавляется индивидуализмом. Отчасти, кроме того, подавляется он и авторитарностью. Интеллигент—руководитель над рабочими, он их рассматривает как нечто, ниже себя стоящее, их работа сама по себе его интересует гораздо меньше, чем его план, его соображения, его мысли. Авторитарность свойственна и крестьянину в домашней жизни, где он сам является руководителем его хозяйства. Она также уменьшает склонность его к коллективистическому мышлению и чувствам.

Итак, коллективизм есть центральный, отличительный момент пролетарской культуры; из него вытекают, как увидим, и следующие моменты.

C. Разрушение фетишей.

Товарищество пролетариата, а с ним и пролетарская культура возникают в труде, расширяются и оформляются в социальной борьбе. Эта борьба ведет к разрушению различных фетишей прошлого.

Фетишизм—это вообще всякое извращенное представление действительности. Фетишизм—когда, например, люди поклоняются камням, как высшим существам; а на самом деле человек, конечно, выше камня по своей организации. Или, например, когда люди верят в бога, который сотворил людей, тогда как на самом деле люди сотворили бога. Или, например, когда признается, что человек должен исполнять волю Пославшего, как говорится в Священном Писании, тогда как сам „посылающий“ есть только выражение интересов какого-нибудь коллектива, в ранних стадиях—развития—коллектива общинного, племенного, в позднейших—господствующего сословия или класса, о воле которого, фактически, и идет дело. Всякое представление действительности, извращающее, перевертывающее в сознании людей ее отношения, есть фетишизм.

Старые культуры, авторитарная и индивидуалистическая, породили массу разных фетишей. Вот эти фетиши и разрушаются сознанием пролетариата в его борьбе. В первую

очередь идут более простые фетиши—авторитарные. Сюда принадлежат, например, все религиозные представления. Они извращают действительность, изображая мир, как создание высших сил, как нечто подчиненное высшим силам, тогда как эти высшие силы—мнимые, сами только создание воображения. Затем, авторитарный фетиш очень важный, это священный характер власти, ее непреложность, ее божественная природа. Понятно значение этого фетиша, он основа дисциплины в авторитарном мире: что может лучше ее поддерживать, как всеобщее убеждение в священной непреложности власти? Такова и вообще вся религиозная мораль, которая, собственно, мотивируется так: это—хорошо, потому что это—веление божества. То-есть: нравственно то, что соответствует велению божества, безнравственно то, что противоречит ему. А божество есть, в сущности, представитель всех вообще авторитетов и всякой власти.

Все эти главные авторитарные фетиши—религия, священная непреложная власть, мораль божественного, т.-е. авторитарного повеления,—имеют одно и то же значение, как устои авторитарной общественной организации, как опора ее дисциплины.

Теперь, в каком положении пролетариат по отношению к этим фетишам, следовательно, прежде всего по отношению к власти—подчинению, т.-е. авторитету вообще? Рабочий, конечно, подчинен капиталисту и агентам капиталиста, разным служащим: отношение авторитарное. Отсюда, казалось бы, вывод неизбежно тот, что рабочий должен и подчиняться авторитарным фетишам. Так это в начале и есть, пока он принимает эту власть, считает ее нормальной, естественной. Но когда начинается борьба против власти, социальная борьба против господствующих классов, тогда оказывается, что хотя рабочий подчинен, но к своему подчинению относится отрицательно. А раз это так, то подчинение теряет власть над его сознанием. Затем рабочий вступает в противоречия по самому ходу борьбы не только со своим экономическим начальством, с капиталистом: ему приходится вступать в борьбу с начальством политическим; а позже, когда он убеждается, что начальство духовное поддерживает и экономическое и политическое, тогда он принужден вступить в противоречие и борьбу также с ду-

ховным начальством. Следовательно, шаг за шагом он вступает в борьбу со всеми авторитетами. Вполне понятно, что на этой почве у него создается мало-по-малу отрицание авторитарности вообще. Притом, хотя он борьбу ведет с действительными, реальными авторитетами, с капиталистом, государством буржуазным, со жречеством, но раз у него складывается отрицание авторитарности, то далее происходит разрушение и авторитетов мнимых, т.-е. божеских и нравственных; эти авторитеты—только порождение действительных авторитетов и их продолжение, их духовное завершение,—так, что переход к разрушительной критике и к этим мнимым авторитетам неизбежен.

Так разрушаются эти фетиши. Но это процесс долгий, даже в передовых странах не завершенный. Пример—религиозность английских и американских рабочих, даже части германских. И кроме того, в самой пролетарской борьбе есть условия, которые временно поддерживают авторитарность. Надо помнить, борьба всегда есть борьба, в ней необходимо силы концентрировать, нужна централизация; а пока централизация эта осуществляется объединением вокруг вождей, т.-е. авторитета в самом рабочем классе. И вначале эта власть в сущности такая же, как власть пророков в какой-нибудь секте. Она власть безусловная, по отношению к которой человек массы не рассуждает, т.-е. чисто авторитарная власть, отношение к вождям, как высшим существам. Но, конечно, удержаться в таком виде пролетарски-классовая авторитарность не может, потому что класс, как целое, борется, ведь, против авторитетов. Что же тогда происходит с этой внутренней властью, внутренней авторитарностью? Она постепенно теряет свой прежний, собственно-авторитарный характер, она очищается от бессознательного подчинения по мере того, как пролетариат культурно поднимается, по мере того, как пролетариат вырабатывает свое отношение к жизни. Подчинение становится все более и более сознательным, и все более и более переносится с вождя на коллектив. Каким же именно образом происходит это перенесение? Вождь обыкновенно остается, но под контролем самой массы, т.-е. развивается контроль класса над вождями, и они остаются таковыми лишь постольку, поскольку выражают стремления и созна-

ние этой массы. Следовательно, класс объективно направляет вождя, объективно руководит им, а сам следует за ним постольку, поскольку вождь становится отражением этой массы, выразителем этой коллективной воли; и в вопросах принципиальной важности, в вопросах основных, в вопросах направления, общих задач, вожди не смеют уже и принимать решений: там решают массы и коллектив. Разумеется, о слепом подчинении тогда не может быть и речи. Самый молодой, самый слабый член коллектива может возражать самому выдающемуся вождю, может с ним не соглашаться; и более того, может заставить его, если найдет себе сочувствие массы, отказаться от тех или иных планов или намерений.

Но как же быть с дисциплиной? Существует же в рабочем классе, ему нужна, необходима дисциплина? Да, товарищеская дисциплина, но не авторитарная. В нем развивается на место прежней авторитарной дисциплины новая—товарищеская. Какая же между ними разница? Первая разница уже выяснена, эта та, что руководителю, авторитету подчиняются постольку, поскольку он выражает волю коллектива. А из этого ясна и другая. Руководитель вовсе не есть власть, он только лицо компетентное. Власть заменяется компетентностью, т. е. подчинением организатору в тех пределах, в каких он лучше других владеет опытом и знает волю коллектива. Обыкновенно говорят: компетентный, это тот, кто лучше знает. Что именно это означает? Что он располагает более значительной суммой опыта: а опыт есть общее достояние людей, продукт и достояние коллектива. Кроме того, так как организаторская компетентность основана во многих случаях, например, в политике, не только на количестве опыта, но и на том, что вождь знает и выражает отношение масс к тому или иному вопросу, то компетентность его основана на том, что он лучше других связан с волей коллектива. Вот два примера. Самый компетентный, самый авторитетный пролетарский мыслитель был Маркс. Но почему? Потому что он обладал такой суммой коллективного опыта, общего опыта, выработанного человечеством, каким не обладал никто другой из людей вообще, и в частности из пролетариев. А любимым вождем немецкого пролетариата был Август Бебель, который всегда

умел уловить настроения, стремления, чувства немецкого пролетариата, значит, лучше всех выражал волю своего коллектива. Вот в чем и заключается компетентность: в том, что человек наилучше владеет опытом коллектива, или наилучше выражает его волю.

В сущности, здесь это только яснее обнаруживается; но ведь, это есть и в обыкновенной, обывательской жизни. Представьте себе, что вы больны; вы обращаетесь к врачу, и врач предписывает вам лечение. Что же он, власть над вами, если предписывает вам лечение? Конечно, нет; однако, вы его станете слушаться, если сколько-нибудь доверяете его компетентности. А что здесь значит „компетентен"? Что он обладает больше других людей медицинским опытом человечества. То, что коллективно выработано человечеством в медицине, ему известно; поэтому он в медицине компетентен, поэтому вы его слушаетесь. Но только в этом и станете слушаться, а в другом вопросе, может быть, он обратится к вам. Там, где вы компетентнее, уже он станет вас слушаться. В этом глубокое отличие компетентности от власти. Компетентность не только ограничена, но может быть и взаимной: компетентные в одном обыкновенно не компетентны в другом, и обратно. В этом отношении все уравниваются, и каждый может чувствовать себя совершенно таким же членом коллектива, как и кто угодно другой. В одном он слушается одного, как знающего, компентентного человека, в другом—другого, а в третьем—другие два его слушаются. Это—основа товарищеской дисциплины. Как видим, тут нет никакого места фетишам власти, а, следовательно, и всем другим, из них вытекающим.

Но опять-таки напоминаю: существуют все переходные ступени, от самой грубой авторитарности, до самой чистой товарищеской дисциплины. Один и тот же вождь в глазах наиболее отсталых может быть чем-то вроде пророка или божества, в глазах несколько более передовой части—необыкновенным, исключительным существом, а в глазах самых передовых товарищей—лишь высоко компетентным товарищем в одно и то же время. И это великолепно можно наблюдать у нас в России.

Много сложнее, запутаннее, разнообразнее фетиши индивидуалистического, собственно-буржуазного мира. Из них

первый, основной, пожалуй, и самый простой—это *индивидуальное хозяйство.* Казалось бы, какой же это фетиш? Существует же индивидуальное хозяйство, хозяйство данного лица. В действительности его нет. Никакого отдельного индивидуального хозяйства самого по себе существовать не может, потому что во всех своих потребностях он нуждается в других хозяйствах, потому что без обмена продуктов оно немедленно уничтожилось бы. Представьте себе, например, хозяйство сапожника; отделите его от остальных хозяйств—и кончено. Сапоги у него есть, но больше ничего нет. Для сапог нужны материалы, а их получить ему неоткуда; а следовательно, и самые сапоги он производить не может. Даже хозяйство крестьянина: оно как будто может и тогда держаться дольше; однако, хлеб у него, положим, будет, но без одежды, ведь, тоже нельзя, а одежды у него нет, и топлива тоже, если у него нет на своем участке; но без топлива нельзя жить; и орудия, когда они износятся, сам он сделать не может; следовательно, и у него индивидуального хозяйства в действительности нет. Есть только коллективное хозяйство, общественное хозяйство, и его части, неразрывно между собою связанные. А индивидуальное—фетиш, в точном смысле слова, потому что это есть извращенное представление действительности. На деле есть коллективное общественное хозяйство и его отдельные части, а представляется, что есть индивидуальное хозяйство, и даже общественного как будто нет, т.-е., что каждое частное хозяйство и живет само по себе и для себя.

С этим первым фетишем связан неразрывно другой—частная собственность. Казалось бы тоже, какой это фетиш? Ведь она же есть? Фетишизм здесь заключается в извращенном ее понимании. Именно, частная собственность представляется как отношение между человеком и вещью. Человеку, скажем, принадлежит эта одежда. Представляется, что это и есть связь между ним и его одеждой; а в действительности это совсем не так. Это фетиш сложный и требует несколько более сложного анализа.

Связь между человеком и вещью может быть двух родов. Может быть связь материальная. Вот, вы надели одежду, между вами и ею получилась связь; но это не есть связь собственности, это материальная, техническая связь. Может

еще быть связь идеальная, связь мышления. У вас есть, например, известное понятие или представление об этой одежде, это ваше идеальное отношение к ней. А если одежда ваша собственность, есть ли это связь техническая, есть ли это связь идеальная между вами и ею? Ни то, ни другое. Ваша собственность может находиться за тысячу верст от вас. Очевидно, это не есть связь техническая. О вашей собственности вы можете не иметь никакого понятия, хотя она от этого нисколько не меньше—ваша собственность. Например, вам остался в наследство дом, и вы совершенно не знаете о тех вещах, которые в нем находятся, понятия не имеете, что там есть и чего нет, а эти вещи уже ваша собственность. Или, вот еще более яркий пример. Умирает собственник „Таймса", громадного газетного предприятия; у него остается наследник—трехмесячный ребенок. Кому принадлежит „Таймс", как издательское предприятие? Этому трехмесячному ребенку. Есть ли у него техническая связь с „Таймсом"? Ясно, что, нет. Есть ли идеальная связь с „Таймсом"? Разумеется, нет, он еще и понятия не имеет об этом. Есть вообще какая-нибудь связь, какое-нибудь отношение? Прямой связи никакой; а между тем—„его собственность". В чем же тут дело? В том, что вы, я, он и т. д., все общество, коллектив признает, что этот самый младенец собственник этой газеты. Только это и можно констатировать; больше ничего нет. Все дело в коллективном признании связи; т.-е. в отношении общества к этому человеку и этой вещи. Между вами и вещью прямой связи может и не быть; во всяком случае, она тут неважна. Но имеется отношение общества и к вам, и к этой вещи одновременно: общество признает вас ее собственником. Это связь общественная. Частная собственность есть, как это ни странно звучит,— общественная связь, и заключается в определенном отношении коллектива к лицу и к вещи. А ее обычное понимание—фетиш, второй индивидуалистический фетиш, тоже очень важный.

Третий фетиш огромного значения—товарная ценность. Опять-таки, в чем заключается здесь фетишизм? В том, что ценность считается свойством самого товара. Всякий думает, что товар продается за деньги, покупается за деньги, потому что ему самому по себе, самой его природе свойственна

такая-то ценность. На самом же деле обмен между индивидуальными хозяйствами означает именно то, что они являются частями общественного хозяйства, и следовательно, обмен товарами есть, собственно, просто обмен разного труда между разными хозяйствами. Если сапожник и крестьянин меняются,—с помощью денег или без помощи денег, это неважно,—но в общем меняют хлеб на сапоги и обратно, то это значит, что крестьяне не выполняют труда для производства сапог, а взамен его отдают труд по производству хлеба, и обратно: это только обмен труда. И товарная ценность есть именно общественный труд, заключенный в товаре, а вовсе не природное свойство этого товара. Поэтому самые полезные вещи, которые по своей „природе", казалось бы, должны быть самыми ценными, как раз никакой ценности товарной не имеют; таковы воздух и вода;—и это потому. что они не требуют труда для их получения, что общество не тратит на них труда. Но если, в исключительных случаях, и на них труд приходится затрачивать, то они приобретают ценность; например, вода из водопроводов в городах. Как видим, и этот фетиш вытекает из фетиша индивидуального хозяйства.

Четвертый фетиш—личное „я". Человек считает себя автономным, т. е., самоуправляющимся, самостоятельным, совершенно отдельным существом, считает себя независимым центром действий, интересов, стремлений, мыслей, считает, что во всем этом он сам по себе. А это неверно. В действительности, он продукт коллектива. Его воспитание, общественная среда, его окружающая, т.-е., его класс, его группа, делают его таким, какой он есть, формируют его мысли и волю. Его действия зависят от его воспитания и от социальных влияний, т.-е. от коллектива, его стремления, его мысли формируются теми же силами—воспитанием, влияниями, т.-е. опять таки коллективом. Ничего независимого тут нет. Если взять самого пролетарского ребенка и воспитать в строго-буржуазной обстановке, из него выйдет чистейший и убежденный буржуа, и обратно. Следовательно, в его личности нет ничего автономного, ничего независимого, кроме его индивидуальных склонностей, способностей, свойств, которые определяют степень и оригинальность его развития, но не его направление, не его волю в основном. Личное автономное

„я“ фетиш очень общий, очень глубоко укоренившийся в природе человеческой; сущность извращения здесь в том, что человек противополагается всем остальным, и даже всему миру, тогда как на деле он—продукт общества и мира.

Таковы основные фетиши индивидуализма. Все они возникли вследствие разделения, разъединения людей, вследствие того, что люди во взаимной борьбе, во взаимной конкуренции на рынке, перестали видеть и сознавать коллектив. Отсюда индивидуальное хозяйство: оно ощущает себя индивидуально потому, что борется с другими на рынке. Отсюда частная собственность: собственник не сознает ее общественного характера, потому что борьба, конкуренция отделяет его от остального общества. Товарная ценность приписывается самому товару, потому что люди не видят общественного труда, который и есть ценность. Личное „я“ кажется независимым, потому что оно сталкивается с другими „я“, находится в противоречии с ними. Все это фетиши борьбы, фетиши анархии буржуазного мира; и главная их основа—это рынок, где как развертывается борьба, анархия буржуазного мира.

Но ведь и рабочий выступает на рынке? Да, и он туда является, во-первых, как продавец рабочей силы, во-вторых, как покупатель разных предметов потребления. Казалось бы, как продавец рабочей силы, он конкурирует с другими рабочими; и кроме того, конечно, борется с капиталистами, как ее покупателями. Казалось бы, как покупатель средств потребления, он опять-таки конкурирует с другими покупателями, если средств потребления мало, и опять-таки борется с продавцами. Значит, он как будто во всей этой борьбе, во всей этой конкуренции участвует, во всей этой анархии борется с другими борцами. Как же он тогда преодолеет эти фетиши индивидуализма, которые из нее и возникают? Но дело в том, что у пролетария, к его счастью, положение особое. Когда капиталист конкурирует с другими капиталистами, он может их победить и выбиться своими силами, может лично подняться в этой борьбе, а пролетарий лично, своими силами ровно ничего не может. Он один не может бороться при продаже своей рабочей силы с капиталистами. Он не может никак в одиночку повлиять на цены продуктов, которые покупает. А так как

у пролетариата имеются все условия для объединения, то пролетарии, не будучи в силах бороться отдельно, конечно, объединяются. Как продавец рабочей силы, пролетарий перестает конкурировать с другими пролетариями, связываясь с ними в профессиональные союзы. Тогда, раз конкуренции нет, то индивидуализм реально преодолевается; а соответственно меняется и строй сознания. Как член профессионального союза, рабочий не рассматривает другого рабочего, как своего конкурента, а напротив, считает его своим союзником в борьбе за наилучший коллективный договор.—Как покупатель средств потребления, рабочий объединяется с другими в кооперативах; и коллективными силами им тут уже удается повлиять на цены продуктов в свою пользу, приобретать их дешевле. Тогда опять-таки, чувства разъединения, сознания—„другой купит, мне ничего не останется“, — тут уже нет, а есть стремление сообща, кооперативом, приобрести возможно большее количество по наилучшим ценам. Следовательно, и как продавец рабочей силы, и как покупатель предметов потребления, рабочий выходит из этого противоречия с другими рабочими, перестает бороться с ними, перестает быть их конкурентом, а напротив, объединяется с ними в коллективах профессиональных и кооперативных. Если так, те фетиши, которые вытекают из этой борьбы, фетиш индивидуального хозяйства и другие, падают сами собою. Рабочий видит, что у него индивидуального-то хозяйства нет, что даже его домашнее хозяйство вовсе не индивидуальное: и вполне естественно, он может тогда гораздо легче разглядеть, что и вообще нет индивидуального хозяйства в современном обществе. Что касается частной собственности, этот фетиш и без того, конечно, имеет очень мало оснований у пролетариата, который вообще частной собственности не имеет; единственная такая „собственность“ пролетария—его рабочая сила; а между тем ее он должен продавать сообща с другими; значит, какая же это частная собственность? Далее, товарный фетишизм—ценность, присущая товару самому по себе;—рабочий лучше всякого другого видит, что эта ценность присуща вовсе не товару, а как раз тому труду, который коллективно этот товар произвел. Этому его учит самый процесс производства, который коллективен. Ему

мешала понять это только идея индивидуального хозяйства; а он от нее отрешился. Он *видит* общественное хозяйство; а кто видит общественное хозяйство, для того понятна и коллективно трудовая основа ценности товара.

И опять-таки, весь этот процесс исторически длительный, далеко не завершенный. Он находится на разных ступенях в разных слоях рабочего класса. Коллективизм сознания у одних развит менее, в зародыше, у других более, у третьих в еще более высокой степени, и т. д. От того и получаются различные степени стойкости в коллективной борьбе, и отдельные такие факты, как штрейхбрехерство, как взаимная борьба даже между профессиональными союзами, что бывало нередко в Америке, как измена отдельных представителей пролетариата, переход на сторону буржуазии, и т. д. И в частности фетиши личного труда, личных интересов, конечно, еще меньше всего подорваны на известных ступенях рабочего движения. Даже союзы, даже организации часто рассматривают себя как объединение сил для преследования личных интересов Так, например, на вопрос, что такое союз рабочих, тред-юнионисты, т.-е., люди старого типа профессиональных союзов, и бо́льшая часть синдикалистов, уже нового типа профессиональных союзов, но более массово-примитивного, отвечают так: рабочий союз есть объединение личностей, общими силами преследующих свои индивидуальные интересы. Значит, тут каждая личность все-таки стоит, собственно, за себя. Они объединяются только как союзники, в известном договоре; цели и задачи здесь не в коллективе, а в личности. И если, ставши на эту точку зрения, проводить ее логически до конца, то получается что же? Когда личность может свои индивидуальные интересы преследовать без этого союза лучше, то она имеет право из него уйти; тут нет измены: раньше она преследовала личные интересы в объединении, а теперь ее личные интересы преследуются лучше, если она от этого объединения уйдет. Например, капиталист дает ей большую плату — значит, собственно, можно уйти. Такие выводы порождает фетиш личного я.

Есть еще иные фетиши индивидуализма, не менее прочные и устойчивые, хотя они производные, они основаны на тех и заполняют, так сказать, их пробелы. Это фетиши так

называемой отвлеченной морали, отвлеченной истины, отвлеченной красоты. Что такое отвлеченная мораль? Авторитарная мораль, мы знаем, это просто веление божие: бог велел так поступать—и это нравственно. Но буржуазная мораль все-таки в некоторых своих элементах поднялась выше этого. Передовые идеологи буржуазного мира божество отвергают, мораль считают невозможным свести к простому его повелению. Но как же они тогда объясняют мораль? Они индивидуалисты. Для них коллектив не виден, общество для них не существует как целое; а мораль, в сущности, что такое? Мораль—просто порядок устройства коллектива; это в действительности—правило коллективной жизни, норма организации коллектива. Как коллективу нужно жить, чтобы его интересы удовлетворялись, чтобы в нем не было противоречий? Ответом на это является бессознательно выработанный устав, который и есть мораль. В авторитарной морали правила жизни коллектива приписывались божеству; но в строго индивидуалистической морали ему нет места; что же тогда подставляется вместо него? То, что одно только и остается: это самое „автономное" личное „я": принимается, что мораль есть собственное автономное законодательство личности. „Я" само себе дает закон, само понимает, что справедливо, что несправедливо, что добро, что зло; и вот, его убеждение, что это, а не то, справедливо, и есть основание, почему так, а не иначе, должно поступать. Другое же—несправедливо, и не должно этого делать. Такова формула отвлеченной морали; наиболее ярко и точно она была выражена в кантиантстве. Как видим, о коллективе здесь нет и речи, идея его вполне скрыта. Но откуда же тогда у человека в его личном „я" это моральное сознание? Кант принужден был принять, что под „эмпирическим" т.-е., прямо, в опыте известным человеку, сознанием есть, как и под всеми вообще явлениями, еще другой мир, внутренний, скрытый мир „вещей в себе", где лежат основы морального сознания, но куда забраться нельзя. Этому миру Кант и приписал все, что ему требовалось, чтобы объяснить моральное сознание, идею „долга"; оттуда, а не из жизни общества, приходит „категорический императив", т.-е. веление, обязательное само по себе, без мотивировки. Оно так и формулируется: должное именно

потому есть должное, что оно справедливо, а несправедливое потому не должно, что оно несправедливое. Т. е. долг есть долг, и поэтому ему нужно повиноваться. Это точная формула самого Канта. Такая мораль является вполне „отвлеченной“, потому что она оторвана от жизни, от своего действительного происхождения, и обосновывается всецело сама на себе: долг есть долг—и кончено.

Может ли этот фетиш удержаться в сознании пролетариата? Пролетарий на опыте своей коллективной борьбы убеждается в двух вещах: во-первых, что для него самого справедливое есть то, что соответствует интересам его коллектива; во-вторых, что справедливое для одного класса несправедливо для другого. Он видит на деле в столкновениях своих с господствующими классами, что для них справедливо то, что для него несправедливо. Таким образом отвлеченная мораль и основанное на ней право—справедливость сама по себе, общая для всех, в том смысле, что всякое человеческое существо ее само для себя создает,—оказывается мнимой, ее нет; фактически мораль и право существуют для того или иного класса: у одного класса одни, у другого другие. Рабочего судят и присуждают к тюрьме за то, что он считает справедливым; а между тем он видит, что и те правы со своей точки зрения. На классовом суде, и вообще в борьбе, в которой понятия о нравственном и законном с двух сторон оказываются противоположными, он убеждается, что никакой морали отвлеченной, самой по себе, которая сама себя навязывает человеку, или которую всякий человек автономно себе навязывает, и которая поэтому, исходя из самой человеческой природы, является обязательной одинаковой для всех,—что такой морали и такого права нет, а есть мораль и право одного класса или другого класса. При этом оказывается, что мораль, право каждого класса—это именно порядок, для них выгодный. С точки зрения пролетариата штрейкбрехер—грязное, противное существо. Почему? Потому, что он вредит своему коллективу. А с точки зрения буржуазной морали—это человек, отстаивающий автономию своей личности, свое автономное „я“, значит, это высоконравственное существо. С точки зрения рабочего стачка есть законнейшее и необходимейшее средство коллективной борьбы, высоко нравственное действие, при котором люди жертвуют личными интересами ради общих. Но с точки зрения капи-

листа стачка есть посягательство на его свободу договора с каждым рабочим, посягательство на личную свободу, следовательно, весьма безнравственная вещь и т. д.

На любом вопросе легко обнаруживается, в чем вся сила, вся принудительность морали с буржуазной точки зрения: как раз в том, что она отвлеченна, что она „сама в себе.“ Ее представители, еще в эпоху древнего мира, формулировали ее значение таким образом: fiat justitia, pereat mundus—да будет справедливость, хотя бы мир должен был разрушиться для этого. Конечно, это нелепая точка зрения, потому что справедливость на деле—именно жизненные интересы коллектива, а если мир разрушить—от коллектива, и значит, от его справедливости ничего не останется. Таков фетишизм индивидуалистической морали, настолько он извращает действительность. В действительности дело идет об интересах коллектива, а принимается, что никакой коллектив не имеет значения—и его, и все прочее можно уничтожить, лишь бы голое повеление долга осуществилось.

Аналогичным образом индивидуалистический мир порождает фетиши отвлеченной истины. Опять-таки почему? Потому, что он не видит коллектива, и от него скрыты коллективные усилия в борьбе с природой. В действительности истина—это коллективный опыт, то, на чем основывается коллективная практика, это идеальное орудие коллективного труда. Этого не видит индивидуализм, и для него истина есть просто истина, и кончено: как формулировал Плеханов,—то, что соответствует действительности, т.-е. то, что истинно; а дальше этого он итти не может, дальнейшего исследования ему не требуется, и оно, с его точки зрения, невозможно. И опять-таки, эта отвлеченная от мира истина выше всего, она останется, когда и самого мира не будет. Один видный философ-идеалист говорит мне: „Что же, вы утверждаете, что теорема Пифагора перестанет быть истиной, если человечества не будет больше“?—Конечно, перестанет; ее просто вообще не будет; она имеет смысл и значение только в человеческой действительности, в человеческой практике, она и возникла у египтян, как землемерный прием. Кто и какой мерой будет мерить гипотенузу и катеты, кто будет возводить их в квадрат, если нет человечества? Но все эти соображения просто непонятны индивидуалисту. Для него без доказательств ясно,

что истина никакого отношения к коллективу, к его опыту, к его труду не имеет, но принадлежит к особому отвлеченному миру, что она, следовательно, существует совершенно независимо от всяких социальных условий.

Это очень прочный фетиш, потому что он многими веками складывался; от него трудно отрешиться даже современным передовым пролетариям; но они все-таки отрешаются. Они на опыте узнают, что истина—разная с точки зрения разных классов. Они видят, например, такую вещь, что одно и то же для пролетария истина, и очевидная истина, а для капиталиста—ложь, и очевидная ложь, при равной искренности их убеждения. Вот хотя бы вопрос, кто кого кормит работники ли капиталиста или капиталист работников? Для капиталиста вполне очевидно и непреложно доказано, что он кормит работников, потому что он дает им заработок; если же он не даст им заработка, им нечего есть. Значит, он прав с его точки зрения, он ведь дал рабочему деньги, на которые тот купил себе жизненные средства. Но рабочий, который знает, что люди кормятся вообще силою труда, точно также совершенно ясно видит, что он кормит капиталиста, потому что если бы тот имел свои деньги, а работники не производили бы предметов потребления, капиталисту нечего бы было есть; а если бы он не присваивал прибавочного труда рабочих, то и этих денег на покупку не имел бы. Вы видите, что они оба совершенно правы, каждый со своей точки зрения. Для обоих свое является истиной, и истиной очевидной, и оба могут считать друг друга совершенно бесстыдными лжецами, идущими против очевидности. Капиталист скажет: „Он идет против очевидности; я дал ему денег, он купил себе хлеба, значит, я его кормлю“. Рабочий ответит: „Нет, он идет против очевидности: разве деньги производят хлеб, который едим и мы и они“? И также, в сущности, почти всякая истина, в разной степени, но всегда может являться истиной с одной точки зрения, заблуждением с другой. И здесь ясно, что это точки зрения классовыя, точки зрения разных коллективов. Так пролетарий убеждается, что нет истины самой по себе, нет истины вне коллектива, а существуют истины того или иного коллектива, как идеальные орудия, пригодные для устройства его жизни, потому что выработанные из его опыта. Достаточно изменить точку зрения, и о, что было истиной, становится ложью.

Так зарождается новая наука, пролетарская, в соответствии с новой, пролетарской истиной. Наука должна изменить свой характер с развитием пролетарски-классовой точки зрения. Это происходит первоначально в области познания общественных отношений, в области политической экономии. Там прежде всего выступили одна против другой две истины—буржуазная и пролетарская. Почему? Да потому, что именно в экономике начинается самая борьба классов, а с ней и противоречие классовых истин. Там, например, быстро обнаруживается, что если капиталист дает рабочим хорошую плату, то с своей точки зрения, конечно, он их не эксплоатирует; а с их точки зрения, если он дает пролетариям настоящую, хорошую, но и для себя выгодную плату, то все-таки он их эксплоатирует. А дальше эта пролетарская истина вырабатывается в противовес буржуазной по всем областям, сначала только общественных наук, но затем также и других. Точки зрения везде могут быть применены разные: точка зрения индивидуально-хозяйственная, т.-е. буржуазная, и точка зрения коллективно трудовая, т. е. пролетарская. Однако, разумеется, процесс их выработки—дело долгое и трудное; и то, что в нем сделано, усваивается лишь шаг за шагом сознанием класса. Один и тот же пролетарий может прекрасно понимать, насколько различна истина у него и у капиталиста в вопросе эксплоатации и, например, не понимать даже того, что в вопросе хотя бы о бытии и сознании, что чем определяется—сознание бытием, или бытие сознанием—у них тоже разная истина. И тем более может быть для него еще непонятно, что в каких-нибудь науках необщественных могут быть разные точки зрения, разное понимание у пролетариата и у представителей буржуазного мира.

Чтобы закончить ряд главных фетишей, остается указать еще на фетиш отвлеченной красоты. С индивидуалистической точки зрения красота есть красота, она прекрасна сама по себе. Это—чистая красота, и не зависит ни от класса, ни от эпохи, ни от условий труда, ни от каких общественных условий. Например, чистая красота, если взять женскую красоту—маленькие руки, маленькие ноги, тонкая талия—это совершенно не зависит от того, какого класса люди, какого общества. А пролетарий, если он подумает,

откуда взялось это представление о красоте маленьких рук, маленьких ног, тонкой талии, то он заметит,—как раньше когда то еще указал наш Чернышевский,—что это красота паразитизма. Маленькие руки, маленькие ноги,—это те, которые в ряде поколений не работают физически. Тонкая талия опять-таки соответствует той слабости стана, когда людям не приходится поднимать тяжестей на своем веку. И для пролетариата по мере того, как у него складывается свое особое эстетическое сознание, черты красоты будут иные, хотя с точки зрения старой чистой красоты они могут быть некрасивы. Так пролетариат опять-таки на опыте убеждается, что и красота имеет классовый и общественный характер, красота человеческого тела, и даже всякая иная. Ибо и красота природы, конечно, не одинаково воспринимается тем человеком, который умеет видеть в ней лишь „чистые" линии, цвета, оттенки, и тем, кого физический труд научил ощущать за всем этим могучие сопротивления.

Теперь нередко даже, на почве борьбы, у пролетария складывается—это уже скорее преувеличение—заранее отрицательное отношение ко всякой красоте буржуазного мира и стремление во что бы то ни стало создать иную, новую красоту. Но, разумеется, вполне преодолеть старую точку зрения здесь, как и в других областях, он сможет только тогда, когда ему действительно удастся создать значительное и важное в этом смысле.

Так мы проследили один за другим ряд фетишей,—авторитарных, индивидуалистических,—и видим, что все эти фетиши возникают, одни из отношений власти—подчинения, другие—из разъединения людей борьбой, и все они преодолеваются, разрушаются силой коллективизма, силой товарищества, свойственной рабочему классу.

Пролетарская культура выяснилась для нас, как культура коллективно-трудовая и свободная от фетишей. Эти две черты вместе делают ее культурой человечной по преимуществу. Чтобы понять, что это значит, обратим внимание на характер прежних культур, авторитарно-индивидуалистических с их фетишами. Фетиши эти характеризуются одним свойством, которое всего ближе выразится словом „бесчеловечность". Так, фетиши авторитарные—воля боже-

ства, неисповедимые его пути и т. д., имеют ли они понятную для людей прямую связь,—косвенная и скрытая там, конечно, есть,—прямую связь с человеческими запросами, интересами, потребностями? В сознании фетишиста такой связи нет; и благодаря этому воля божественная часто выступала в самых истребительных, в самых бессмысленно-жестоких формах. Во имя этой воли божией сжигались и истреблялись всякими способами еретики, во имя этой воли божией ломались человеческие жизни всякого рода принуждениями и насилиями; и все это было логично, ибо, что такое человек перед бесконечностью божества? Столь же бесчеловечна реальная, земная власть в ее авторитарно-фетишистическом характере. Во все времена эта власть—деспотическая, рабовладельческая, феодальная, бюрократическая—была беспощадной в подавлении и истреблении тех, кто ей противился или просто так или иначе для нее был неудобен. Власть какого-нибудь Тамерлана, Чингиз-хана и всяких завоевателей была тот фетиш, во имя которого они боролись, и в жертву которому приносились многие миллионы людей; и это казалось людям естественным, нормальным. Бесчеловечна вся мораль, которая основана на фетишах бога и власти. Эта мораль требовала, например, спасения души хотя бы ценою уничтожения тела; и на это опиралась инквизиция. Это мораль была бездушно-формальная: стоило известным образом истолковать веление божества, и тогда, основываясь на нем, можно было делать, что угодно. Например, христианское учение запрещало убивать людей, запрещало проливать кровь; поэтому католическая церковь никогда не убивала людей и никогда не проливала крови. Это не помешало ей сжечь миллионы еретиков. Но она делала так. Она предавала еретика светской власти „для наказания мягкого и без пролития крови“; а светская феодальная и бюрократическая власть наказывала со всей своей мягкостью, т. е. сжигала, „без пролития крови“.

Фетиши буржуазного мира, индивидуалистические фетиши точно также бесчеловечны, хотя в ином роде. Например, деньги это—орудие распределения в обществе предметов, нужных людям; но деньги, как воплощение меновой ценности, фетиша капиталистического мира, являются в этом мире необходимым условием потребления. Человек, у

которого нет денег, не имеет возможности удовлетворять свои самые насущные потребности. Рынок признает только уплату, он не признает потребностей и не считается с ними. Следовательно, деньги, или товарная ценность, выражением которой они служат, представляют из себя фетиш совершенно бесчеловечный, именно, в силу отвлеченности, оторванности от своей основы—коллектива с его трудом и интересами. Люди могут сколько угодно умирать с голода, а другие рядом будут иметь величайший избыток, но в царстве фетишей из этого не вытекает, чтобы они должны были своим избытком делиться. В эпохи кризисов так и бывает. Масса гибнет от холода, голода; а рядом с этим излишние продукты гибнут от недостатка покупателей. Во время кризисов это бывает потому, что у кого есть потребность в этих продуктах, у того нет денег; а у кого есть деньги, тем эти продукты не нужны. Тут вместе с тем обнаруживается и бесчеловечность другого, исследованного нами фетиша—частной собственности, потому что дело тут именно в частной собственности на деньги, на товары, на предметы потребления. И точно также это говорит о бесчеловечности основного из этих фетишей—индивидуального хозяйства. В конце концов основа всей бесчеловечности—в индивидуальном хозяйстве с его частной собственностью борьба таких хозяйств, их конкурренция, имеющая характер войны всех против всех, конечно, устраняет все человеческое в их отношениях. И американский миллиардер только логичен в своем фетишизме, когда он предпринимает спекуляцию, дающую ему какие-нибудь десятки миллионов, совершенно безразличные для его потребностей, но в то же время разоряющие и приводящие к голоду и самоубийству тысячи, десятки тысяч людей.

Мораль буржуазного мира, его право, его нормы, как мы знаем, связываются с „автономным“ человеческим „я“, голос совести считается автономным законодательством личности, но не живой, конкретной, социальной, а отвлеченной, абсолютной, „самой в себе“, недоступной нашему опыту И вот это автономное „я“ оказывается столь же бесчеловечным, как и все прочие фетиши. Да будет справедливость, да погибнет мир, это—его формула. Ясно, что эта формула совершенно бесчеловечна опять-таки потому, что здесь дело

идет об отвлеченной формуле, и человек, как живое конкретное существо, а не как автономное, абсолютно-моральное, отвлеченное „я“ для нее не существует. И это постоянно можно наблюдать в формализме старого праза. Часто сами судьи, например, превосходно понимают, что их приговор жесток, бессмыслен; но он вытекает из закона, и для них вопрос этим исчерпывается.

Истину индивидуалистический мир понимает, как нечто отвлеченное, совершенно не зависимое от людей, их усилий, их стремлений. Это фетишизм отвлеченной истины; он, как показывает живая практика, столь же бесчеловечен, столь же чужд, что и естественно при таком понимании, запросам и потребностям людских масс. Достаточно посмотреть на самое блестящее, на самое поразительное и высшее в смысле успеха применения истины. Это—роль науки в мировой войне. Идеальная точность расчета в истреблении миллионов людей. Невиданное торжество математических, физических и химических формул. Для этой отвлеченной истины, действительно, безразлично ее применение, к творчеству ли человеческому, к истреблению ли всего человечества. Для отвлеченной истины, которая остается совершенно независимой от сохранения или уничтожения человечества, от сохранения или уничтожения миров, для нее это, действительно, безразлично. Но если мы понимаем, что истина есть организованный человеческий опыт и орудие организации сил человечества, то мы видим, что это применение научной истины представляет грубое жизненное противоречие, превращение науки в ее практическую противоположность.

Даже фетиш отвлеченной красоты, казалось бы, такой невинный, и он глубоко чужд человечности. Яркая иллюстрация—поэты и художники, прославляющие красоту войны, ее величие,—как прекрасна война в своем могучем разрушении. Очевидно, что их понимание красоты совершенно вне человечества. Напомню известное изречение анархиста—анархизм, идеология гибнущей от капитала мелкой буржуазии, дал представителей наиболее полного, наиболее последовательного индивидуализма; один из анархистов сказал, что перед красотою жеста человека, бросающего бомбу, ничто те мелочи, которые из этого последуют. Вот вам образец отвлеченной красоты.

Таковы старые фетиши во всей их бесчеловечности. Их преодоление, освобождение от них и есть творчество человечности. Нет надобности доказывать, как глубоко проникнут духом человечности коллективный труд людей и взаимная поддержка в этом труде. Совершенно понятно, почему, например, пролетариат всегда был классом, антимилитаристическим, поскольку он был сознателен, разумеется. Человечность торжествует и в виде свободного, освобожденного взгляда на мораль, право, истину, красоту. Любопытно, что даже прообраз коллективизма, коммунистическое христианство античного мира, идеология тогдашнего пролетариата уже дал формулу, отрицающую этот бесчеловечный фетишизм. В „Евангелии" вы найдете выражение, приписанное Христу: суббота для человека, а не человек для субботы,—там, где идет дело о законе, о религиозном законе. Значит, иногда, по крайней мере, первобытное христианство возвышалось до понимания того, что религиозный закон существует для людей, а не наоборот. И вообще, когда мы полагаем, что нормы, истина, красота, что все это—орудия жизни и развития человечества, то понятно, бесчеловечные, бессмысленные применения, которые разрушают жизнь человечества, сами собою отбрасываются. Они подобны всякому ошибочному применению орудия, влекущему за собою часто гибель работника. Истина, конечно, всегда по своему происхождению есть именно орудие жизни и развития человечества; а если она может применяться для истребления, то ведь и топор, который есть орудие постройки, может, конечно, употребляться для убийства. Это— явления совершенно одного порядка.

Таким образом, пролетарская культура характеризуется высшей человечностью, и в сущности, есть первая истинно человеческая культура не только по своему происхождению, что само собою понятно, но человеческая по своему духу.

Таков третий момент пролетарской культуры—свобода от фетишей прошлого. Это, как видим, момент производный от трудового и коллективного характера этой культуры. Он даже как будто отрицательный,—свобода от фетишей, отрицание их; но он отрицательный только формально. Мы видим, как громадно его положительное значение. И этот момент тоже является для пролетарской культуры резко отли-

чительным. Правда, от авторитарных, напр., фетишей умели освободиться и крайние индивидуалисты, напр., идейные анархисты. Они отрицают религию, отрицают власть, отрицают священный характер всего этого, и т. д. Они умели освободиться от авторитарных фетишей; но тем менее они способны освободиться от фетишей индивидуалистических, и всецело подчиняются им. Точно также от фетишей индивидуалистических умеют освободиться некоторые представители авторитарной мысли, например, сторонники патриархального государственного строя. Они указывают на неестественность, на ненормальность господства капитала над людьми, на жестокую власть денег и рынка, и т. д. Но зато они тем сильнее проникнуты фетишами авторитарными; их идеал—мудрая, патриархальная государственная власть которая в согласии с религией организует жизнь народа.— Но в общем, все типические воззрения прежних культур представляют лишь смесь в разных пропорциях фетишизма авторитарного и фетишизма индивидуалистического. Из этих двух элементов в тех или иных комбинациях образуются более или менее связные, более или менее противоречивые комплексы, которые и представляют разные стадии, степени и формы прошлых культур. Уничтожение же этих фетишизмов само собою уже обусловливает культуру принципиально новую.

Д. Единство методов.

1) Его общие основы.

Пролетариат есть начало нового общества в старом; вследствие этого он неизбежно оказывается в противоречии со старым обществом. Противоречие это двойное. Во-первых, противоречие интересов. Во-вторых, противоречие мироотношения, понимая под мироотношением вообще основы культуры, ее точку зрения и методы.

Из противоречия интересов пролетариата со старым обществом в его целом вытекает революционная борьба за его переустройство. Эта борьба имеет вообще политическую форму, является политической борьбой. Это не есть ежедневная борьба за улучшения в пределах существующего строя, не есть обычная экономическая борьба пролетариата.

Начинается она, правда, в связи с этой экономической борьбой, как ее продолжение, и в начале не сознает, так сказать, своего харатера. У борющихся еще нет сознания, что их политическая борьба со старыми классами есть борьба революционная, радикальная. Сначала в своей политической борьбе пролетариат тоже еще признает основы старого общества, не видит своей задачи в корне их преобразовать. Так, английские рабочие вели политическую борьбу за признание профессиональных союзов, потом за рабочее законодательство, и не видели, что эта борьба есть борьба за уничтожение буржуазного строя. Только постепенно в ходе политической борьбы для самого пролетариата выясняется, что это—борьба за социализм, за новое общество, за полное переустройство. И выясняется это, конечно, на суровых уроках истории, когда оказывается, что частные политические улучшения ничего существенно не изменяют в строе жизни, а жизненные противоречия этого строя становятся все ощутительнее для пролетариата. Например, пролетариат, боровшийся за демократию, убеждается, что в демократических республиках его так же эксплоатируют, а при случае так же усмиряют, как и при прежнем государственном строе. Самый большой урок—это была, без сомнения, мировая война, в которой оказалось, что самые различные государственные формы старого строя, от русского деспотизма до английской свободы, одинаково годятся для того, чтобы подготовить и оформить такую мировую катастрофу. Так или иначе, пролетариат приходит, наконец, к сознанию своих целей, своих радикально-революционных интересов. Это образует одну сторону его сознания.

Другая сторона вытекает из того, что пролетариат идет не только к иным целям, чем старые классы, но, по своей природе, должен итти к этим целям иными путями, действовать иными методами, относясь ко всему окружающему с иной точки зрения. Отсюда вытекает его культурная или идеологическая борьба, в которой формируется его культурное сознание. Это и есть пролетарская собственно культура. Основу этой борьбы составляет выработка методов. Класс особый, своеобразный по своему положению в обществе, по своим задачам неизбежно должен выработать иные методы, иные пути для своего движения, потому что старые

пути обязательно будут приводить его к старым целям. Эти новые пути и методы, которые, собственно, и образуют культуру класса, шаг за шагом оформливаются. В чем же? Во-первых, в бытовых нормах—в том, что называли раньше классовым правом и классовой моралью; называли прежде, а для пролетариата эти названия, в сущности, уже не подходят. Затем в познании, следовательно, в классовой науке; наконец, в художественном творчестве и восприятии, т.-е. в классовом искусстве. Бытовые нормы, познание, искусство—вот три области, в которых развиваются новые методы.

2) Бытовое развитие пролетариата.

Бытовое развитие мы уже рассматривали. Мы видели, что оно заключается в постепенном пропитывании пролетариата духом товарищества, т.-е. коллективизма, в данном случае именно классового коллективизма. Мы видели, что процесс этот долгий, потому что пролетариат идет из класса мелких собственников, людей культуры индивидуалистической и отчасти авторитарной; мы видели, что пролетарии на первых шагах остаются таковыми же. Но мало-по-малу сама жизнь, процесс труда и борьбы учит рабочего, что, поскольку он остается на старой точке зрения и идет старыми методами, он ничего в своем положении, угнетенном и неустойчивом, изменить не может, потому что старые методы не могут вести к достижению новых целей, к решению новых задач. И вот пролетариат постепенно, в труде и борьбе, пропитывается коллективизмом, проникается им на почве фактического объединения. Вначале это объединение невольное, внешнее: в производстве его создает капитал, собирая рабочих в громадных предприятиях и связывая их своей дисциплиной. Затем это объединение укрепляет и расширяет сила вынужденной борьбы — насущный интерес, грубый жизненный интерес. Объединение достигается фактически, и только постепенно выражается в сознании, только постепенно осознается. Таким образом переход к коллективизму в своем развитии постоянно отстает от фактического объединения: сознание всегда отстает от факта.

Напомню яркий пример. Тредъюнионисты и синдикалисты до сих пор еще понимают товарищескую организацию,

как союз личностей, общими силами преследующих индивидуальные интересы. Организация товарищеская уже налицо, а понимается она индивидуалистически, потому что задачей ее ставятся индивидуальные интересы объединившихся. Это собственно ступень так наз. „демократического“ сознания. В демократическом сознании есть коллегиальность, т. е. сознание того, что силы объединены и должны действовать согласно; но нет коллективизма, при котором сознается и полное внутреннее единство целей. Коллегиальность предполагает объединение сил, но не предполагает слияния целей, а коллективизм предполагает и то и другое. Это и сказывается в демократическом сознании при решении всяких вопросов. Как решают вопросы демократы? Голосованием. Что значит голосование? Считают человеческие единицы. Как видим, здесь один человек считается совершенно одинаковым и равным другому. Казалось бы, это что-то очень хорошее, но в действительности это сводится к тому, чтобы превратить человека в отвлеченную единицу, в счетную единицу; а затем там, где больше этих счетных единиц, там признается право, где меньше счетных единиц, там требуется или подчинение или разрыв: исполняй или уходи. Это не коллективизм, потому что подчинение тут механическое. Большинство предписывает, меньшинство должно вопреки своему сознанию подчиняться. Значит, здесь есть дух авторитета, только перенесенный на большинство, а основа метода, которым создается этот авторитет, индивидуалистическая, признание формально-отдельной человеческой единицы, счет таких единиц, как абсолютных и совершенно самостоятельных. И надо сказать, что демократическое сознание бесконечное число раз на деле опровергалось историей, т. е. обнаруживало, насколько оно несовершенно. Ведь в громадном большинстве случаев право было меньшинство, в громадном большинстве случаев большинство было неправо, большинство было представителем консерватизма, традиций, прошлого, а меньшинство—представителем будущего. Уже одного этого достаточно, чтобы не смешивать демократическое сознание с коллективистическим.

Когда-то, лет 12 тому назад, мне приходилось спорить с товарищами и доказывать, что мы, хотя боремся за демократизм, который был знаменем борьбы, в сущности, вовсе

не демократы. Я говорил: „Какими мы можем быть демократами, когда пролетариат среди человечества несомненное меньшинство, а сколько-нибудь сознательные элементы среди пролетариата меньшинство, революционный элемент меньшинство среди этого более сознательного пролетариата. Мы же всегда меньшинство, и меньшинство в третьей, в четвертой степени“. Но я, конечно, не хотел сказать этим, что мы аристократы, хотя, впрочем, все зависит от того, как понимать это слово. Коллективистическое сознание просто поднимается над отдельной человеческой личностью, и имеет в виду коллектив, как целое, развитие его сил, развитие его жизни. При этом дело уже не в большинстве голосов. Если коллектив есть действительно целое, то вопрос решается не большинством и меньшинством, а единодушием, единогласием. Но ведь это невозможная вещь? Да, конечно, во многих случаях, это, особенно в наше время, невозможная вещь, однако, не во всех; и число случаев, где это вполне возможно, все возрастает. Каким путем возрастает? Да самый яркий пример наука. Можем ли мы даже сейчас сказать, что большинство людей признают, например, движение земли вокруг солнца? Если подвергнуть этот вопрос голосованию, то, вероятно, нет. Но наука это признает. А всякий, кто ознакомится с делом, придет к согласию с нею, или останется при мнении темного большинства? Ответ ясен. Дело в том, что по этому вопросу опыт коллектива уже организован. И таких вопросов уже много. Иногда это и практические вопросы. Например, классовая борьба. Представьте, что большинство пролетариев постановляет отменить классовую борьбу. Это будет только показывать, что перед нами несознательная, стихийная масса; а все-таки пролетарское коллективное сознание эту классовую борьбу неизбежно принимает, потому что оно имеет коллективный опыт пролетариата; и подчинимся ли мы тогда решению большинства пролетариев? Случай был: в мировой войне большинство пролетариев вначале отменяло классовую борьбу. Считали ли мы себя обязанными подчиняться? Конечно, нет. Но в тех случаях, когда коллективный опыт еще не организован, а согласия нет, приходится в своем коллективе подчиняться большинству—это меньшее зло.

Эти простые соображения весьма нелегко воспринимаются, потому что говорят о вещах в значительной степени новых. Но вот попробуем пояснить их посредством сравнения еще с одним историческим фактом. В эпоху Коперника громадное большинство людей, все, кроме одного, считали, что солнце движется вокруг земли. Они это видели прекрасно, это точно выражало их опыт, было для них непреложно. Коперник пришел к заключению другого рода, а именно, что земля движется вокруг солнца. Спрашивается, кто из них выражал опыт коллектива? Это ли большинство, или этот один человек. Всякий по привычке скажет, что опыт коллектива выражало большинство. Но это совершенно неверно. У всего этого большинства был только один и тот же наименьший, обывательский опыт, повторенный лишь сотни миллионов раз. А имевшийся уже коллективный опыт был гораздо больше этого. Именно, наибольший астрономический опыт, добытый к тому времени человечеством, был собран и выражен в так называемых таблицах кастильских астрономов. Один испанский король, Альфонс Мудрый, собрал астрономов и велел им приготовить новые астрономические таблицы. Астрономические таблицы вообще служат для ориентировки в морских путешествиях; тогда они были очень нужны, потому что шло усиленное искание новых путей и стран,—новых рынков; старые таблицы, уцелевшие от древнего мира, благодаря накоплению погрешностей в ряду веков, оказались очень неточными: все положение светил уже сильно изменилось. Астрономы должны были заново произвести измерения и проверку и составить новые таблицы. Это было сделано. Итак, у Коперника имелся весь тот опыт, какой имелся у других людей, у всех обывателей, т. е. и он видел, конечно, как солнце ходит вокруг земли; но кроме того, у него имелся еще опыт, собранный, объединенный всеми прежними астрономами, и, наконец, новейший, оформленный кастильскими астрономами. Спрашивается, у кого же был опыт человечества в целом? у кого был коллективный опыт? Совершенно ясно, что опыт человечества был всего полнее, всего цельнее выражен у Коперника. И вообще, опыт человечества это вовсе не опыт большинства его, а это весь тот опыт, который в нем собран, который имеется у большинства и у меньшинства, который имеется у всех

вместе. Опыт большинства—это только тот минимум или та средняя величина, которая свойственна людям. Опыт коллектива—это, напротив, максимум, который имеется у всех вместе, а сколько-нибудь полно концентрируется в меньшинстве, иногда в отдельных личностях.

Сравним это с богатством, с благосостоянием. Благосостояние большинства—это среднее благосостояние мелкого, напр., собственника. А благосостояние коллектива что такое? Это вся сумма богатства, которым он располагает, вовсе не среднее, а вся сумма.

Переход от демократического сознания к коллективистическому заключается именно в том, что люди перестают быть счетными единицами, а представляются как нераздельные элементы одного целого. Задачей ставится не подчинение меньшинства большинству, а его полное согласие с большинством. Если же допускается на деле подчинение меньшинства,—и вы знаете, теперь оно допускается на каждом шагу,—то только, как временный компромисс. Если, напр., в рабочих союзах пролетариат решает по большинству, то это значит, что надо действовать, а между тем нет времени, нет возможности столковаться так, чтобы все пришли к одному и тому же: нет времени, так приходится действовать по большинству. Вот смысл голосований в рабочих союзах. И поэтому, когда мне пришлось рисовать социальный идеал в „Красной Звезде“, я совершенно устранил оттуда элемент массы и голосования, т.-е. массы, состоящей из разрозненных элементов.

Но все-таки, так или иначе, это коллективистическое сознание развивается, и оно, конечно, вырабатывает свои нормы, прежде всего бытовые. Прежние бытовые нормы назывались—обычай право, нравственность. Новые собственно неправильно так называть. Вы знаете, обычай, нравственность, право имели определенную санкцию, т. е. поддерживались определенными силами. Обычай имел за собою санкцию прошлого, санкцию веков. Ясно, что пролетарские нормы не таковы. Право имеет за собою санкцию государственной власти, т.-е. санкцию господствующей силы и ее насилия. Мораль имеет за собою санкцию божественной воли, или же чистой справедливости, чистого добра, отвлеченного добра. Какая нибудь авторитарная мораль—санкцией служит божья воля, мораль

отвлеченная—санкция чистой отвлеченной справедливости чистого отвлеченного добра. Опять-таки, для пролетариата все эти санкции не годятся. Он может, конечно, временно пользоваться ими, и долгое время сам стихийно, бессознательно их придерживается, но оне вовсе не соответствуют его природе.

Какие же у него-то нормы? Без сомнения, и самый сознательный коллективист-пролетарий при случае говорит: ты не имел права так делать, это не хорошо, не честно, и т. д. Что он под этим подразумевает, если он сознает, что говорит? Он под этим не подразумевает нарушения божеской воли, он этим не подразумевает нарушения чистой отвлеченной справедливости, так же, как не подразумевает нарушения традиций прошлого.

Он подразумевает под этим целесообразность, полезность для коллектива—с точки зрения коллектива, его жизни, его развития. Если он говорит,—это плохо ты делаешь, не хорошо,—он подразумевает под этим вред для коллектива, для общего, для целого. Следовательно, это нормы не религиозные, не правовые, не моральные,—это нормы целесообразности или нецелесообразности для коллектива. Значит, они сами по себе и не принудительные, они не нуждаются в санкции принудительности, в силе принудительной. Дело идет о целесообразности; именно о целесообразности с точки зрения коллектива. Следовательно, кто принадлежит к коллективу, живет его целями, его задачами, для того они подразумеваются сами собою, без всякого принуждения.

Однако, мы знаем, что и бытовые нормы пролетариата приобретают часто такой, весьма принудительный характер, что, напр., штрейбрехеров бьют, а то и убивают за нарушение товарищеских норм. Тут сказывается принудительность в самой ясной форме. Других бойкотируют—это также известная принудительность, и т. д. Да, но эта принудительность вынуждается борьбою. Эта принудительность зависит от того, что коллектив-то еще не сложился вполне, что он только складывается, только развивается, и притом в борьбе. В этой стадии принудительность неизбежна, она вынуждается самой борьбою; но эта принудительность не относится ни к божеству, ни к чистой истине, а в сознании передового пролетариата она так и связывается с интересами коллектива

в его борьбе. Значит, санкцией является просто и прямо общая цель; и если применяется насилие, то не во имя отвлеченного права, и тем менее божеского закона, а применяется по необходимости борьбы. В сущности эту санкцию можно назвать научной, и вот по какой причине. Наука говорит, как следует действовать в тех или других случаях, она, следовательно, дает правила. Но эти правила она обосновывает не на божеском повелении или на отвлеченном каком-нибудь законе. Нет, она их обосновывает на целесообразности. А между тем, обосновывая так, она действует иногда и принудительно. Напр., наука говорит: с динамитным патроном надо обращаться так-то, чтобы его сохранить, или взорвать безопасно; если она дает такое правило, оно не моральное, не правовое, но оно практически принудительное. Кто это правило попробует нарушить, того можно и надо подвергнуть немедленному насилию. Если человек обращается с динамитом так, что он может взорвать много других людей, и у вас нет времени словами убеждения его остановить, вы должны его застрелить. Это вытекает из научной санкции потому, что наука есть выражение опыта и задач коллектива, и ее санкция есть санкция целесообразности.

Мы видим здесь опять-таки демократизм совершенно отпадает. Штрейкбрехер презренен вовсе не потому, что он в меньшинстве, и если в каком-нибудь желтом союзе штрейкбрехеры, то это вовсе не делает их позицию более нравственной, более чистой. Более того, может оказаться, что во всем пролетарском мире в известный момент штрейкбрехерами являются девять десятых;—так было, когда началась мировая война,—девять десятых рабочего класса Европы были штрейкбрехерами пролетарской борьбы, потому что они пошли на империалистскую войну, пошли не по принуждению, а за совесть. Это не изменило самой нормы, ибо численное большинство в ней не при чем: демократизма нет в пролетарской бытовой норме. Огромное большинство может ее нарушить и нарушило, но пролетарская норма целесообразности коллектива, вытекающая из задач рабочего класса, от этого не изменилась.

3) Научное развитие пролетариата.

Продолжая изучение четвертого момента пролетарской культуры—единства методов,—теперь мы подходим к вопро-

сам научного развития пролетариата. В сущности, и об этом приходилось уже говорить в предыдущем.

Наука старого мира развилась на основе своего отрыва от производства, от коллективного труда людей. В этом заключается ее основная односторонность. Пролетариат во всех своих проявлениях культурного творчества стоит на коллективно-трудовой точке зрения. Естественно и понятно, что она проходит у него и через область науки. Поэтому, неизбежно было зарождение новой, пролетарской науки, точка зрения которой есть коллективно-трудовая. И мы знаем, эта наука возникла сначала в виде новой политической экономии, которую можно назвать политической экономией трудовой стоимости. А трудовая стоимость—это есть именно воплощение коллективного труда в товаре. И, следовательно, политическая экономия, идущая от Маркса и основанная на принципе трудовой стоимости, есть коллективно-трудовая. Она складывается в то самое время, когда политическая экономия старых классов буржуазии развивается, можно сказать, в прямо противоположную сторону. Их новейшая политическая экономия основана на так наз. учении о предельной полезности, которое стоит исключительно на точке зрения обмена и потребления. Это, опять-таки, совершенно понятно. Старая буржуазия все более отходит от производства, но, конечно, продолжает покупать и продавать, живет в области обмена и, разумеется, в области потребления; а точка зрения коллективного труда становится для нее абсолютно недоступной.

Одновременно с новой политической экономией зародилось и новое понимание истории: исторический материализм, который считает основой общественного развития производство или коллективный труд, исторический материализм, который есть именно коллективно-трудовой принцип в социальных науках.

Таким образом, в области общественных наук уже в значительной степени даже сложилась новая пролетарская наука, в значительной степени она уже существует. А затем новая точка зрения проникла в область философии. И здесь суть ее опять-таки заключается в том, что она рассматривает мир, природу, как поле деятельности человеческого коллектива, как поле коллективного труда.

На этом мы сейчас все же не станем останавливаться, потому что вопросы эти слишком важные и сложные для того, чтобы затрагивать их мимоходом. Во всяком случае, вслед за общественными науками и философией поднимается перед пролетарским сознанием вопрос о пересмотре *всех вообще* наук с коллективно-трудовой точки зрения. Вопрос поднят, кое-что сделано, делаются дальнейшие шаги; но надо помнить, что такая вещь, как пересмотр науки, гигантского комплекса знаний, завещанных тысячелетиями жизни человечества, требует, конечно, не малого времени и огромных усилий. И нам здесь не приходится иллюстрировать эти вопросы в силу тех же соображений [1]).

Итак, наука преобразуется шаг за шагом с единой коллективно-трудовой точки зрения, а следом за этой единой точкой зрения идет естественно и логически необходимым образом единство научных методов. Это единство методов зарождается, как всегда, в сфере практики, в сфере коллективного труда, а не в науке, как таковой. Оно возникает именно в научной технике машинного производства.

Мы знаем, что прежде над производством, над человеческим трудом и, следовательно, над самими людьми, над коллективом господствовала специализация, которая суживала и дробила силы людей, их сознание. И мы видели, как машинное производство преодолевает эти результаты специализации, изменяет ее характер, как труд становится все более однородным по существу. В нем сливается организаторский и исполнительский элементы, при чем все более преобладание переходит на сторону организаторского элемента, который существенно сходен, тогда как остающаяся различной исполнительская сторона труда занимает все меньшее место в жизни работника. Но самая эта однородность труда в свою очередь основана на машине, т.-е. на едином методе практики, на едином методе труда, на едином техническом методе. Что же это за единый технический метод, который воплощается в машине? Всякая машина есть, собственно, орудие для превращения энергии. Берется какая-нибудь

---

[1]) Этому вопросу специально посвящена моя работа „Социализм науки“, 1918 г., также ряд глав в „Науке об общественном сознании“ и в „Политической Экономии“ *Богданова и Степанова.*

стихийная сила—сила воды, ветра, пара, электричества, и превращается посредством технических приспособлений в те виды энергии, которые нужны людям в данном конкретном случае. Следовательно, этот единый метод есть именно метод превращения энергии из одной формы в другую. А на основе практического превращения энергии даже старая наука, когда ей пришлось иметь дело с развивающимся машинным производством, пришла к единой точке зрения в тех науках, которые именно эту технику машинную организуют, т.-е. в физико-химических и технических. В физико-химических и технических науках всецело господствует единый метод, который можно назвать энергетическим, т.-е. там все явления рассматриваются как превращения энергии, как ее сохранение и рассеяние. Энергетика, общий метод физико-химических наук, и возникла первоначально именно из термодинамики; а термодинамика была, в сущности, обобщенным абстрактным учением о паровых машинах. Таким образом, это единство метода было порождено машинным производством даже в старой науке, и оно продолжало до наших дней завоевывать все новые и новые области. Прежде всего науки о жизни: физиология давно стоит прочно на энергетической точке зрения, другие биологические науки проводят ее дальше и дальше.

Но, во-первых, буржуазная наука могла провести это единство метода только в тех областях, где прямо вынуждала к этому практика, т.-е. в группе физико-химических и связанных с ними наук, а затем лишь, мало-по-малу, в других естественных науках. Она не умела и не могла применить эту точку зрения к общественным наукам. А, во-вторых, самое понимание этого закона сохранения энергии в старой науке неизбежно смутное, потому что понять настоящим образом значение и смысл этого принципа, зародившегося в производстве, конечно, и можно только с точки зрения производства, т.-е. коллективного труда. Так., напр., физики до сих пор весьма расходятся в вопросе о том, что же такое энергия. Одни рассматривают ее, как некоторую сущность, „субстанцию“, образующую мир, другие, как чистый символ, служащий для вычислений. А с точки зрения коллективного труда, идея „энергии“ выражает всеобщий практический метод, выражает именно то, что для всякого

производственного действия, для всякой нужной коллективу работы, приходится откуда-нибудь почерпать необходимые силы и превращать их в надлежащие формы. Вот действительная сущность, действительный смысл идеи энергии, смысл совершенно непривычный и чуждый для старой науки.

Итак—единство метода. И, как видим, метода практического и познавательного. Практика и познавание, вместе взятые, представляют именно человеческую работу организации, именно организации вещей, людей и человеческого опыта. Если взять целиком всю практику и все познание, то что у них общего? То и другое—организующая деятельность. Процесс организации вещей для потребностей общества—это технический; людей—это экономическая практика, идей или, правильнее, человеческого опыта—это познавательная работа, идейная. Следовательно, единство метода в практике и познании есть не что иное, как единство организационных методов, а вместе с тем единство организационного опыта. Единство методов научных и практических есть единство методов организационных. Это вполне естественно; и все-же только пролетариат, индустриальный пролетариат, в силу своего особого положения в социальной жизни мог дать основу для него, точку зрения, приводящую к этому единству.

Что же это за особое положение? Оно заключается в том, что пролетариат—организатор во всех областях. Он организатор вещей, потому что его руками выполняется технический процесс, т. е. организация вещей для человечества; эту работу непосредственно ведет пролетариат. Но он ведь и сам организуется для своей работы, для своей социальной борьбы. Это организация людей в коллектив. Значит, пролетариат есть также организатор людей. И он вырабатывает свою культуру—следовательно, он есть организатор идей. Это первый класс в истории человечества, который необходимо ведет организационную работу во всех областях жизни сразу.

Сопоставим его с буржуазией. Буржуазия организаторский класс? Да, конечно; она управляет современным обществом, она организует людей; она организует идеи, вырабатывая, развивая свою культуру. Но занимается ли она организацией вещей? Этот труд, техническую работу, она предо-

ставляет другим классам. Значит, она—организатор не во всех областях, и как раз не организатор в основной из всех—в организации вещей. Поэтому она и не могла притти ко всеобщим организационным методам, которые должны объединять все эти области; а для пролетариата, организатора во всех областях, притти к этому единству организационных методов естественно и необходимо: это вытекает из его основных жизненных интересов.

Таково развитие пролетариата в сфере науки. Многое в нем уже сделано, еще гораздо более намечается; и через все проходит действительное глубокое единство коллективно-трудовой точки зрения и основанных на ней организационных методов.

В сфере искусства пролетариат начинает развиваться позже, чем в сфере быта и в сфере науки, а суть, конечно, та же—переход от индивидуализма и авторитаризма к коллективно-трудовой точке зрения. Прежде, в эпохи авторитарные, как патриархат, феодализм, с их общественным сознанием в религиозной форме искусство было всецело авторитарно-религиозным. Там художественное творчество рассматривалось, как народное служение богам. Что значит „народное служение богам“? Во-первых, как видим, тут была своего рода коллективная точка зрения: деятелем художественного творчества был и признавался народ, как религиозное целое. Но цель творчества была не в нем, а в „богах“, т.-е. в фетишах, под которыми, конечно, скрывается жизненная связь коллектива, его единство. Буржуазное отвлеченное сознание считает художественное творчество, во-первых, делом личным, индивидуальным, во-вторых, считает его служением чистой, абсолютной красоте. Значит—индивидуализм и отвлеченный фетишизм. А что такое искусство для пролетариата? Это, во-первых, продукт коллективно-создаваемый, во-вторых, орудие организации сил коллектива же. Коллективно создаваемое—это не значит то, что создается обязательно толпой, многими вместе. Это может иногда быть, но может и не быть Важно другое: то, что фактически участвуют в создании каждого художественного произведения не только его творец-художник, но весь коллектив, к которому он принадлежит, потому что этот коллектив дал ему и силы, и материалы, и стремление создать это художественное произведение. Силы даны всей подготовкой, воспитанием; материалы

даны опять-таки всей жизнью, общим опытом коллектива; а направление, устремление дается духом коллектива, его жизненными тенденциями.

Это—пролетарская точка зрения на искусство, а точнее—коллективно-трудовая. Почему так точнее? Когда мы говорим—пролетарское, мы понимаем под этим класс, который проходит разные ступени, который не сразу восходит до ясного самосознания. А коллективно-трудовая точка зрения—это именно его самосознание, к которому он приходит в результате долгого развития. Конечно, в первых ласточках пролетарского искусства эта коллективно-трудовая точка зрения проявляется только стихийно; но шаг за шагом она вырабатывается и проникает собою сознание пролетария-художника. Шаг за шагом. Но сделано в этом отношении пока еще сравнительно немного.

Здесь пролетарское искусство дополняется, как необходимо для всякого искусства, своей пролетарской критикой, которая стремится помочь его выработке, его осознанию. Нередко приходится слышать даже со стороны товарищей „пролеткультовцев": „художественное творчество свободно. Как может критика, хотя бы самая ученая и стремящаяся быть самой пролетарской, как может она указывать ему пути?" На это надо ответить, что указывать пути в положительном смысле, в смысле прямого непосредственного руководства, что делать, что творить, как вырабатывать и т. д., этого пролетарская критика, в общем, не может. Этого критика, вообще, обыкновенно не делает. Критика регулирует развитие искусства, охраняет от ложных шагов, освобождает от подчинения прошлому. Это она может и должна. О нашем журнале „Пролетарская Культура" не раз говорили: „что за няньки! все указывают—вот это пролетарское, а это не пролетарское искусство!" Это как раз то, что может и что должна делать критика. Она может и должна указывать там, где молодое творчество подчиняется прошлому, там, где оно идет по чужим путям. Это отрицательная работа, но, конечно, громадной важности [1].

---

[1]) Специально посвящена этим вопросам моя работа „Искусство и рабочий класс" (1918); также соответственные главы „Науки об общественном сознании" (1919 г.).

Итак, единство точки зрения и метода: точка зрения—коллективно-трудовая, метод—организационный; таков четвертый из основных моментов пролетарской культуры: труд, коллективизм, освобождение от фетишей, единство точки зрения и методов.

Единство методов—это тоже отличительная особенность пролетарской культуры от старых культур. Старая культура, вся буржуазная культура, благодаря разрозненности буржуазного мира, благодаря его анархии, не могла не только выработать единства точки зрения и методов, но она не могла даже и поставить этой задачи. Она чужда этому, и если приходит частично к подобному единству, то только ощупью и невольно. Она чужда и коллективно-трудовой точки зрения, в силу оторванности от труда, и организационной точки зрения, в силу той борьбы и раз'единения, той постоянной дезорганизации, которая господствует в буржуазном мире.

V. Социалистический идеал.

Мы называем пролетарскую культуру классовой. Она, конечно, и есть классовая, потому что вырабатывается в определенном классе и в его борьбе с другими классами. Но только ли классовая? Посмотрите на ее элементы. Она коллективно-трудовая. А разве жизнь человечества не была всегда коллективно-трудовой? Да, в действительности она никогда иной не была. Человечество всегда жило и развивалось силою коллективного труда. Ведь труд не переставал быть коллективным от того, что он разрознен во множестве хозяйств, и что люди, передавая друг другу, распределяя продукты этого труда, вступают в борьбу между собою на рынке. Все-таки остается то, что всегда люди работали и работают друг на друга, а, следовательно, работают на коллектив. Коллективно-трудовой смысл жизни был замаскирован, скрыт от людей видимым дроблением коллектива и видимой борьбой; но только замаскирован, затемнен. В пролетариате эти затемняющие, скрывающие его условия устраняются, как бы разрываются своеобразные оболочки, и выясняется—что же? *Общечеловеческое:* то, что в человечестве всегда было, но чего оно не сознавало.

В чем смысл освобождения от фетишей? Что эти фетиши в себе заключают? Фетиши религии, т.-е. авторитарные—это одно и то же,—объединяли людей и дисциплинировали их для общественной жизни. Например, бог, в сущности, был только выражением единства родового, племенного, народного, выражением связи людей; а его заповеди, веления выражали строй жизни коллектива. Значит, в действительности, под этими фетишами скрывалась именно коллективно-трудовая связь; она была их действительной основой. В фетишах отвлеченных, фетишах буржуазного мира точно также. Например, чистая истина это—в сущности истина общечеловеческая, истина, создаваемая человечеством, как целым в его

труде. Или, например, один из прекраснейших в свое время фетишей буржуазного мира—свобода, личная свобода, свободное „я“. Это, собственно, выражение такой связи коллектива, при которой каждый член коллектива беспрепятственно развивается. Следовательно, и под этими фетишами скрыта тоже коллективно-трудовая связь. Пролетарская культура раскрывает это истинное содержание фетишей, раскрывает действительность, которая опять-таки постоянно имелась в жизни человечества, но была затемнена, скрыта. И здесь пролетариат стоит на общечеловеческой почве.

Затем единство точек зрения, единство методов. Единство и связность, это—*организованность*. Все живое всегда стремится к единству, к связности, к организованности, к жизненной цельности. Это—цель всякой жизни, всякой жизненной организации. Человечество всегда стремилось к этой цели, хотя бы не сознательно, стихийно; и если эта цель ставится сознательно и достигается больше, чем когда-либо, то это обще-человеческая победа?

Итак, все выясненные нами элементы пролетарской культуры имеют обще-человеческий характер, хотя по необходимости одеты в классовую оболочку. Однако, ведь, в пролетарской культуре есть еще один элемент, о котором как будто не говорилось—элемент классовой вражды и классовой ненависти. Конечно, мы не останавливались на этом элементе, потому что в самом слове „класс“ о нем уже сказано. Кто говорит о классах, тот говорит о борьбе; кто говорит о борьбе, тот говорит о противоречиях, вражде, ненависти. Это само собою понятно; но это не есть собственный элемент пролетарской культуры, это элемент навязанный, отрицательный, Ей приходится бороться, чтобы жить и защищать себя, чтобы развиваться. Элемент борьбы в пролетарской культуре, элемент классовой вражды, классовой ненависти необходимый, но только отрицательный, а не положительный. Однако, если хотите, даже и он обще-человеческий—обще-человеческий для классового общества. Каждый класс относится так к другому. В современном, классовом обществе это, следовательно, опять-таки общий, обще-человеческий элемент, но не основной, не определяющий для культурного творчества. Он, во-первых, лишь временный, пока приходится вести классовую борьбу, а во-вторых, он отрицательный, а развитие,

творчество определяется, конечно, в основе своей положительными элементами.

Я поясню это сравнением. Садовнику артисту приходится устроить прекрасный сад там, где сада не было. Разумеется, он должен расчищать почву, ему приходится уничтожать, вырывать неподходящие растения, резать, выжигать и т. д. Но чем будет определяться его творчество? Что является основным в его творчестве, и, следовательно, в его духовных переживаниях? Эта ли работа по расчищению почвы, вырыванию, выжиганию неподходящих элементов? Конечно нет. Основным в его творчестве, в его переживаниях являются те элементы работы, которые заключаются в подборе, распределении, посадке выбранных им растений, в их постоянном культивировании, уходе за ними, и т. д. Его культура, если можно так выразиться, заключается в этом положительном культивировании, а не в том, что он нечто разрушает и уничтожает, чтобы иметь простор для этой положительной работы. Так и пролетарская культура определяется в основе не борьбой, а трудом, не разрушением, а творчеством. Ее душа это—ее положительные элементы. Если мы соберем эти положительные элементы,—коллективизм труда, свободу от фетишей, единство и цельность жизненной точки зрения, жизненных методов,—возьмем их вместе и в полном развитии, что они тогда образуют? Возьмем жизнь в целом, проникнутую ими—что тогда перед нами? Жизнь, проникнутая коллективизмом, трудом, освобожденным от фетишей, единая в своих целях и в своих методах,—как это называется? *Социалистический идеал.* Вот что такое пролетарская культура. Пролетарская культура есть социалистический идеал в его развитии.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

Новый мир, 3-е изд., Гос. Изд. 1920.

Наука об обществ. сознании, 2-ое изд., Лит.-Изд. Отдел Нар. Ком. Прос., 1918.

Искусство и рабочий класс, изд. Ц. К. Всер. Пролеткульта, 1918.

Социализм науки, изд. Ц. К. Всер. Пролеткульта, 1918.

Красная звезда, утопия, 3-е изд., Изд. Отд. Петерб. Совдепа, 1919.

Инженер Мэнни, фантастический роман, 3-е изд., Петерб. Совдепа 1919.

Философия живого опыта, Гос. Изд. 1920 г., цена 50 р.

Всеобщая организационная наука, т. I и II (распродано).

Краткий курс эконом. науки, 10 изд., переработанное *Ш. М. Дволайцким* при участии автора, Гос. Изд. 1920 г., цена 70 р.

Начальный курс полит. экон. в вопросах и ответах, изд. 5-ое. Изд. Отд. Моск. Совдепа.

Курс политич. экономии *А. Богданова* и *И. Степанова* т. I, изд. 3-е, Изд. Отдела Моск. Совдепа, 1919, т. II, вып. 2-ой, Гос. Изд. 1919 г., т. II, вып. 4-ый, Гос. Изд 1919.

Издания Всероссийского Совета Пролеткульта.

А. Луначарский. Диалог об искусстве. Цена 2 р.

Протоколы Первой Всерос. Конф. Пролеткульта, под редакцией *П. И. Лебедева-Полянского.* Цена 4 р. 50 к.

П. Бессалько и Ф. Калинин. Проблемы пролетарской культуры. Книгоиздательство „Антей“. 80 стр. Цена 10 руб.

Р. Пельше. Нравы и искусство французской революции. Государственное издательство. 52 стр. Ц. 12 р.

„Пролетарская Культура“. Сборник журнала № 1—10 в одной книге. Второе издание. Государственное издательство. Цена 35 руб.

Печатаются:

Памяти Ф. И. Калинина. Сборник статей *А. Богданова, А. Коллонтай, А. Луначарского, В. Полянского* и других.

Портреты *Ф. И. Калинин, П. К. Бессалько.*

Журнал **„Пролетарская Культура“** продается: Москва, Советская площадь, 1-й книжный склад Государственного Издательства.

Цена 20 руб.

Никем из книгопродавцев указанная на книге цена не может быть повышена.

Государственное Издательство.



